

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

КТО

ВИНОВАТ?

(СБОРНИК)

Александр Герцен
Кто виноват? (сборник)

«Public Domain»

Герцен А. И.

Кто виноват? (сборник) / А. И. Герцен — «Public Domain»,

ISBN 978-5-699-67215-8

Александр Иванович Герцен (1812–1870) – писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России – в своем знаменитом романе «Кто виноват?» писал о темах, по-прежнему актуальных и в наше время: положение женщины в браке, свобода чувства, семейные отношения. Страстный защитник русского народа, писатель активно выступал за необходимость просвещения народа.

ISBN 978-5-699-67215-8

© Герцен А. И.
© Public Domain

Содержание

Кто виноват?	6
Часть первая	8
I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту	8
II. Биография их превосходительств	11
III. Биография Дмитрия Яковлевича	18
IV. Житье-бытье	23
V. Владимир Бельтов	40
VI	45
VII	56
Часть вторая	64
I	64
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Александр Герцен

Кто виноват? (сборник)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Кто виноват?

А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив.

Протокол

Наталье Александровне Герцен в знак глубокой симпатии от писавшего.

Москва. 1846

«Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841 г.) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не *написана*, а другая – не повесть. В первое время моего переезда из Вятки во Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез¹.

Разумеется, что я не сладил со своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии страшил меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, – я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

В конце 1840 г. были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека», – «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder»².

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы – *паши-квиль* на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи»; например, автор прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, – ну разве не так?» Это дошло до директорши, та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, слеп или из ума шутит? – говорила она. – Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансэ*». Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?»

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, и со своей способностью увлечься он, совсем напротив, переценил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь,

¹ Былое и думы. – Полярная звезда, III, с. 95–98. (Примеч. А. И. Герцена.)

² «Путевых картин» (нем.).

которая заставит всех сказать: «Он прав, давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур».

Цензура сделала разные урезывания и вырезывания, жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр. 38³). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

8 июня 1859 г.

Park-House, Fulham. И-р

³ См. наст. изд., с. 16.

Часть первая

I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту

Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе; он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

– Что ты?

– Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

– А? (что, собственно, тут следует: вопросительный знак (?) или восклицательный (!) – обстоятельства не решили).

– Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

– А!

– Он просил сказать, когда изволите проснуться.

– Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил:

– Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

– Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? Мямлит, ничего не поймешь. – Впрочем, прибавил, не дожидаясь повторения: – Позови учителя, – и тотчас сел.

Молодой человек лет двадцати трех-четырех, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

– Здравствуйте, почтеннейший! – сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. – Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (При этом он свистнул.) Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! Когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству, – вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики... Эй, Васька, позови Михаила Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

– Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь... разумеется, насколько силы мои... впрочем, я употреблю все старания, чтоб оправдать доверие ваше... вашего превосходительства...

Алексей Абрамович перебил его:

– Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное – умение заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

– Как же, я кандидат.

– Это какой-то новый чин?

– Ученая степень.

– А, позвольте, здравствуют ваши родители?

– Живы-с.

– Духовного звания?

– Отец мой уездный лекарь.

– А вы по медицинской части шли?

– По физико-математическому отделению.

– По-латынски знаете?

– Знаю-с.

– Это совершенно ненужный язык; для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте...

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не прервал Михайло Алексеевич, то есть Миша, тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

– Вот твой новый учитель, – сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

– Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег – твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

– Он уже кой-чему учился, – заметил Алексей Абрамович, – у мадамы, живущей у нас; да поп учил его – он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и наконец сказал:

– Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал:

– Российской грамматики?

– Все равно, вообще.

– Этому мы не учились.

– Что ж с тобой делал поп? – спросил грозно отец.

– Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.

– Ну поди покажи классную комнату... Позвольте, как вас зовут?

– Дмитрием, – отвечал учитель, покраснев.

– А по батюшке?

– Яковлевым.

– А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

– Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» – подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее; пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок: она сделалась *Adansonia baobab*⁴ между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспан-

⁴ Баобаб (лат.).

ную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не вовремя, с удивлением воскликнула: «Ах, боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, – там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдемте-с!» – сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар.

– Глаша, – сказал Алексей Абрамович, – рекомендую тебе – новый ментор нашего Миши. Кандидат кланялся.

– Мне очень приятно, – сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. – Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике; мы, право, не знаем, как благодарить Семена Ивановича, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?

– Я все сидел, – пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

– Не стоя же ехать в кибитке! – сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастья; может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться, – как? Да и потом, вероятно, надобно было не сядившись поклониться.

– Я тебе говорил, – сказал генерал впослуха, – красная девка!

– *Le pauvre, il est a plaindre*⁵, – заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был интересен; во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных, – а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию – чувство материнское, – что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и небо, но скрыл боль с твердостью Муция Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе.

⁵ Бедняжка, он достоин жалости (фр.).

Против нее – для того ли, чтоб пользоваться милым *vis-a-vis*⁶, или для того, чтоб не видеть его за самоваром, – вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя: ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке, – миньютурная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка-мадам, У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пальцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, – попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие – генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала —

II. Биография их превосходительств

Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда – и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстроивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, что он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцати лет, воспитанный природой и француженкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя не способным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел

⁶ Здесь: в смысле – сидящим напротив (*фр.*).

в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных okazji. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и ночью словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды фореитору... Так прошло года полтора; наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, фореитор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Негрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна: он брал всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, нисколько не занимавшийся устройством деревни, доложил енаралу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево; но... но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая бестия, за лишнее бревно – ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю – потому, что эти победы делаются очень просто.

Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу, – это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, – доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козой, – так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, – свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилиу после сыскал. «Спишь все, щенок, – сказал

ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. – Поди скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе⁷, гербы золотые, сукно пунцовое, басон кокликко, парадные козлы о трех чехлах.

Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила неожиданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы *pro* и *contra*⁸ и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решила на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха *полубарыней*. Через неделю их обвенчали. Когда, на другое утро, молодые пришли с конфетами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказывать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась – остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного – жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унижительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, – говорила она, – молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого... А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, – что тебе за мать крестьянка!... А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают

⁷ темно-коричневого цвета с металлическим оттенком (от *фр.* mordore fonce).

⁸ за и против (*лат.*).

тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом обьест... Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала... Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая *varietas*⁹ рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих – словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж – они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающимися старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени – женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, – как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива, она была лишена всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета; начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее – в благодар-

⁹ разновидность (лат.).

ность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, – ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли – вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отрыла в теткинском гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романтических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы... «Ты моя навеки!» – говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки», – и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим – шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, – период, после которого девушке или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженных собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья – и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кухне, – та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кухня выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кухни и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостя явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достоподобным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены; с окон сняли сторы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

– Да для чего это, тата, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

– Не твое дело, душечка, – отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить... она должна была выйти

на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее... Вдруг въехала карета.

– Палашка, я умру, я умираю! – говорила молодая графиня.

– И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи...

Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом, – извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что переживала бедная девушка во время *показа и смотра!*.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, – это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты... Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые, – люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались со смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж; дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство – не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание! Можно ли было ждать от такого отца развращенного – царство ему небесное – и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, тамап, угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит...» – «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» – отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бессовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордоре-фонсе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе; ее муж, как высший сановник передней, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее, – и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю, хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и *мечтательно* склонила голову на руку; иногда румянец пробегал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

– Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

– Нет, я здорова, – отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

– Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

– Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексис начал удивляться.

– Посмотрим, посмотрим, – отвечал он.

– Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

– Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу – сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах:

– Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!...). Алексис, она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок... О, я ее люблю! Пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать... и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! – И слезы текли обильным ручьем по тармаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кровать опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать – матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня – ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком Мосту детское платье, раздела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка, – говорила она ей, – у тебя нет папаши, нет мамы, я тебе буду все... Папаша твой там!» – и она указала на небо. «Папа с крылышками», – пролепетал ребенок, – и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давно прошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. – Дуня была на вершине счастья; она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях – и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая, – кажись, ей и нельзя надеть другого платья; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила за здравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшей необдуманностью, – по крайней мере, равною необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина – очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует признать, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это... В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и «за», и «против». Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, – тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось, – тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрез-

вычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дворечихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчичьих дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостинной – совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской – своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негрова.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их, наверное, можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными камнями, так и нынче непременно встретится – только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее, – а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут... От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему, и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами, и не знаю, как и для чего, а полагаю – больше для всесовершеннейшего покоя решили ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. Биография Дмитрия Яковлевича

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашнем обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощеных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик о трех окнах – домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женою. Жизнь его была постоянно битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром; в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а непрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждою,

дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным героическим подвигом на неосвященном поприще, награда – насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее, сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет номадной¹⁰ жизни вынес он; на девятый устал и начал просить постоянного места, – ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастью, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик о трех окнах, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата господня, ночью обила старый диван и креслы ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой – их головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домашнего доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни – воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью – скапидаром, дегтем, муравьиным спиртом – и всегда выздоравливали – или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить *t-rae opii Sydenhamii* капель X, *solutum in aqua distil lata*¹¹ да не поставил под ложечку сорок пять пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться; скарлатина указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избежал смерти и болезни своею чрезвычайно слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастья этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернатор возненавидел Круциферского за то,

¹⁰ кочевой (от *греч.* *nomas* – кочевники).

¹¹ Сиденгэмовой настойки опия капель 10, разведенных в дистиллированной воде (*лат.*).

что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика¹². Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара, – удар прошел мимо головы его. В это тревожное время непрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, – опора, надежда, утешение. А что же случилось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней; через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протектировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу NN, отправляясь из деревни в Москву¹³. Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундире и поддерживая шляпой ипагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учителя, сильно причесанные и с крепко повязанными галстуками, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожам, всего менее потерявшимся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда немолимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстрь визитерь»¹⁴.

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и проч. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената, уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет

¹² Эти строки были выпущены ценсурой. (Примеч. А. И. Герцена.)

¹³ Эти строки <т. е. от слов «Директор гимназии» и кончая словами «меценат обратил»> были выпущены ценсурой. (Примеч. А. И. Герцена.)

¹⁴ Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя (от фр. comment pouvons-nous pauvres enfants remercier l'illustre visiteur).

вашего сына», – сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик – в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами, – и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни; тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб – все покрыто черной, тяжелой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять... Это сцены, никому не известные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, – существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой ученопедагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существования маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга... Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, – но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками, – но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях...

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возведено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то гнозии, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил займы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в *postscriptum*¹⁵ ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека, – так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, – возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь,

¹⁵ приписке (лат.).

хочется, – но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, обеспечены, – принесите глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

– Вы господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

– Я, – отвечал Дмитрий Яковлевич, – к вашим услугам.

– А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

– Я, – начал посетитель с убийственной медленностью, – инспектор врачебной управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу...

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:

– Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича... мы с ним одного выпуска... нет, извините, он вышел годом ранее... да, годом ранее, точно, – все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезд-де, в нашу губернию, кондиции, мол, такие и такие, и вот, мол, требуют то и то. Антон-ат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, – а рекомендацию всегда был готов дать.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых... «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит, – стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел внаем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек, но, однако, человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN и мало-помалу научился говорить с расста-

новкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Много восторгалось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген... и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» – подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говаривал, что судьба – слово, не имеющее смысла, – оттого-то оно так и утешительно.

– Итак, мы дело сладили, – сказал наконец инспектор после маленького молчания, – я еду через пять дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тарантас.

IV. Житье-бытье

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнью. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царил в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили – трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли... Это все из немецкой философии! Генерал вставал в семь часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубокомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он превнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел, но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортчку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка – в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты разбойник! – кричал генерал. – Да тебя мало трех раз повесить!» – «Воля вашего превосходительства», – отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась «до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миньятюрная *французенка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая а la Pompadour; она извещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начи-

нался жалобой Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала в правом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, – не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страданиях и утешала ее тем, что и княгиня Р ***, у которой она жила, и графиня М ***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее *tic douloureux*¹⁶. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, напал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть», – в этом у него состоял патриархальный *point d'honneur*¹⁷! Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с француженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи птичницы, барчонка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-генеральше; им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталость и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина – барашка, телят, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в сад; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как – это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся – Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне) у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в

¹⁶ нервный тик (*фр.*)

¹⁷ вопрос чести (*фр.*)

диванную. Мадам говорила беспрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия, Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась, – какое-то дикое несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ah, comme elle est bete, insupportable!»¹⁸. И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать, – и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед – Негров под другой фамилией – или старуха тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали – и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппе; муж ее был *второй любовник*, но, по несчастию, климат Петербурга оказался для него губелен, особенно после того, как, оберегая с большим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал – по очень простой причине, потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в тридцать... поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д., – всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и унижения, уступала место, предупреждала желания. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек. Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи походов и интриг о своих благодетелях (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую – все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это – клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рожденьями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег!»

Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата: она являлась, большею частью молча, в кругу патриархальной семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много странного: с лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафире Львовне было это невыносимо подчас, и она звала ее ледяной

¹⁸ Ах, до чего она глупа, невыносимо! (*фр.*)

англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни; но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз: жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнью и погубленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немного веселило ее? отчего она любила сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин, и внутренних и внешних, – начнем с последних.

Положение ее в доме генерала не было завидно – не потому, чтобы ее хотели гнать или теснить, а потому, что, исполненные предрассудков и лишённые деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его без всякой нужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее, а потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние иного слова на душу, более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему с беззащитной девушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодетельству. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров; ему и в голову не приходило, чтоб эта девочка могла обидеться его словами; *что она такое*, чтоб обижаться? Алексей Абрамович, желая укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана бога молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастьем, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека как на годного жениха для нее; заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке: «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право, хорошо: и мне бы с руки, да и ей чем не партия? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее: заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и проч.; но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя: «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками», – потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке; ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньке; несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза – толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, – будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверх красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель, тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видеть. Сверх сказанного, ее теснило и все окружающее; ее отношения к дворне, среди которой жила ее кормилица, были неловки. Горничные смотрели на нее, как на выскочку, и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении, и они почти вслух, в минуты негодования, говорили: «Холопку как ни

одевай, все будет холопка: осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности, – но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений, – тот или, лучше, та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха – злая, полубезумная и ханжа – не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, – говорила она, покачивая головой, – принарядилась так? а? Скажите пожалуйста! Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям! Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя; а это с какой стати, право? Да и Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб господь бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки – три провинциальные грации, из которых старшая года два-три уже стояла на роковом двадцать девятом году, – если не говорили с такою патриархальною простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостоивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано; но, уходя в свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше таких обид – да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие – ей и в голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтоб *chère tante*¹⁹ их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок.

Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее; сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной; зато у Глафиры Львовны была библиотека; в диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний – книгами; в нем было с полсотни французских романов; часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж, – она тогда все покупала: кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком... В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг; между ними попались две-три английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то, что не только в доме Негрова, но на четыре географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет; переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особенного пристрастия к чтению у ней не было: она не настолько привыкла к книгам, чтоб они ей сделались необходимы; ей что-то все казалось вяло в них, даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, – совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? – Это тайна женской души.

¹⁹ милая тетя (фр.).

Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уж в четырнадцать лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или с необычайною легкостью освобождается от грязи и сора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине; нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях, а все не ближе, как лет в тридцать пять, приобретаем, вместе с потерей волос, сил, страстей, ту ступень развития и понимания, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств.

Любоньке было двенадцать лет, когда несколько слов, из рук вон жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов воспитали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С двенадцати лет эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них; ничто внешнее, окружающее не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтоб понять свои мечты. Так прошло пять лет. Пять лет в развитии девушки – огромная эпоха; задумчивая, скрытно пламенная, Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие – но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди; под конец, не имея силы носить всего в себе, она попала на мысль, очень обыкновенную у девушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нечто вроде журнала; для того чтоб познакомиться с нею, выписываем из этого журнала следующие строки:

«Вчера вечером, сидела я долго под окном; ночь была теплая, в саду так хорошо... Не знаю, отчего мне все делалось грустнее и грустнее; будто темная туча поднялась из глубины души; мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отец и мать, но я сирота: я одна-одинехонька на всем белом свете, я с ужасом чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, все любят кого-нибудь; мне все чужие, – хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, – но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной, он мне больше чужой, нежели Глафира Львовна; но он отец мой, – разве дети судят своего отца? разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец, – я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Как только Алексей Абрамович становится жесток, мое сердце бьется сильнее, и кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему с той же жесткостью... Любовь мою к матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, как я узнала, что она – моя мать; мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать: я ее любила как кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней; я должна многое скрывать, говоря с нею: это мешает, это тяготит; надобно все говорить, когда любишь; мне с нею не свободно; добрая старушка – она больше дитя, нежели я; да к тому же она привыкла звать меня барышней, говорить мне вы, – это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь, но любовь не снизошла в мое сердце».

Через неделю. – «Неужели все люди похожи на них, и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне; иногда мне невыносимо тяжело с ними, – или я одичала, сидя все одна? То ли дело,

как уйду в липовую аллею да сяду на лавочке в конце ее и смотрю вдаль, — тогда мне хорошо, я забываю их; не то чтоб весело, скорее грустно — но хорошо грустно... Под горою село; люблю я эти бедные избы крестьян, речку, текущую возле, и рощу вдали; я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь — то песня раздастся вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег... А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчишки, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор; и я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лица у них, открытые, благородные! Кажется, если б их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы! Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них: наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, — а он обижает их... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ее жестокости; она, как будто стыдась, всегда говорит: «Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться по-человечески, тотчас забудутся». Мне не верится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах! Я всегда с крестьянками говорю, как с другими, как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты; правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой... Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, — а ведь те учились и все помещики, чиновники, — а такие все противные...»

Вероятно ли, чтоб девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова, лет семнадцати от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала? — За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собиравшего документы; за психическую позвольте вступить мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете; она, от природы одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшем, что вина ее рождения падает не на него, а на нее, наконец, всей дворней, которая, с свойственным лакеям аристократическим направлением, с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если б она была мужчиной; но девушкой она бежала в самое себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда мало-помалу часть бродившего в ее душе стала оседать, когда не было удовлетворения естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, так сказать, самой себе занимавшее ее и тем облегчить свою душу.

Немного надо проницательности, чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при тех обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовности любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга: они были одни, они были в степи... Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов; судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении Негрова с своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнью, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича; само собою разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего; ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали, однако ж, ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского; спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое; тогда между ними устроилось тайное понимание друг друга; оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал *шпынять* над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилетнего Спирьку или седого как лунь Матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали

губы и выходили пятна на лице; он точно так же, чтоб облегчить тяжело-неприятное чувство, искал украдкой прочесть на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды – их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию; совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию.

Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя: мне музы отказали в способности описывать любовь:

О ненависть, тебя пою!

Скажу вам вкратце, что через два месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно, страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни; ей он подчинил все: и свою любовь к родителям, и свою науку – словом, он любил, как может любить нервная, романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще долее не высказывал его ей, даже не смел об этом думать, – по большей части и не следует думать: такие вещи делаются сами собою.

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа да Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе *della bufera infernale*²⁰: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивиковы журавли», все шло хорошо, но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к «Алине и Альсиму», – тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свете, —

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась – и он рыдал, рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?» – спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» – повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: «Будьте, будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. «Боже мой! – думал он, – что я наделал... Но она так тихо, так кротко вынула свою руку...» И он опять плакал, как ребенок.

Вечером в тот день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы, верно, влюблены? рассеянны, печальны...» Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все, что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же, хотите?» – спрашивала неотвязчивая француженка.

²⁰ адского вихря (*ит.*).

– Сделайте одолжение, – отвечал молодой человек.

И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот дама de vos pensées...²¹ да вы пресчастливый: она легла возле вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю... возле червонный туз... она вас очень любит... Это что? – не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер, заставляете ее страдать!!» и проч. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него пронизательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «*Pauvre jeune homme*²², она вас не заставит так страдать, – ну, где же найти такую каменную душу... Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Верно, нет!» – Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел – и, наконец, спасся бегством. Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив – словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие, как молния, – лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того чтоб упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то в будущем...

Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратил внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку (вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался: Миша дразнил собаку, она лаяла, Негров велел ее выгнать; наконец горничная с холстинными рукавами унесла самовар, Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, Глафира Львовна жаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была уж там. «Когда смеркнется, выйдите на балкон; вас будут ждать», – сказала она. Круциферский был ни жив ни мертв... Верить ли, нет ли?... Ему назначено свиданье; может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев, может... И он выбежал в сад: ему показалось, что вдали, в липовой аллее, мелькнуло белое платье, но идти туда он не смел, он не знал даже, пойдет ли он на балкон, – да разве для того, чтоб отдать письмо, на одну минуту – только отдать... но страшно вздумать, как взойти на балкон... Он посмотрел наверх: в углу балкона виднелось, несмотря на то что совсем смерклось, белое платье. Это она, она, грустная, задумчивая, – она, быть может, любящая!.. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он достигнул наконец верхней, я не берусь вам передать.

– Ах, это вы? – спросила *Любонька* шепотом.

Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба.

– Какой вечер прекрасный! – продолжала *Любонька*.

– Простите меня, простите, бога ради! – отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку. *Любонька* не отдергивала.

– Прочтите эти строки, – сказал он, – и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно...

Снова поток слез оросил его пылающие щеки. *Любонька* жала его руку; он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст; первый поцелуй любви – горе тому, кто не испытал его! *Любонька*, увлеченная, сама запечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй... Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив; он склонил голову себе на руку, он плакал... и вдруг... подняв ее, вскрикнул:

– Боже мой, что я наделал!

Он тут только разглядел, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

²¹ владеющая вашими помыслами (фр.).

²² Бедный молодой человек (фр.).

– Друг мой, успокойся! – сказала умирающая от избытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы; сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару. Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? – Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.

Для пояснения странного *qui pro quo*²³ нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобщенные к делу, заметили, что с тех пор как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделала несколько внимательнее к своему туалету; что блуза ее как-то иначе надевалась; появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастье подходить под цвет остатков шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то что ее уже немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит; то улыбка – и глаза сделаются масляные, то вздох – и глаза сделаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен; когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку *rouge végétal*²⁴, которая лет пятнадцать покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, – тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступить на сцену!» В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна – разумеется, княгиня – интересовалась одним молодым человеком, как у нее (то есть у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы; как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих рассказов. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны ни к какой страсти, – это неправда: пожар бывает очень продолжителен там, где много жирных веществ, – лишь бы разгореться. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательных мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие по Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтобы Глафира Львовна ей поверила свою тайну; она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно: она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти – и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжение двух недель сделала ей два подарка – купавинской фабрики платок и одно из своих шелковых платьев.

Круциферский, чистый и девственный не только в поступках, но и в самых мечтах, не догадывался, что значит предупредительная услужливость француженки, ее двусмысленные намеки и, наконец, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застенчивая рассеянность и потупленные взоры раздували более и более страсть сорокалетней женщины; странное ниспровержение обыкновенного отношения полов придавало особый интерес; в самом деле, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрий Яковлевич – невинной девушки, около которой злонамеренный паук начал плести свою паутину. Добрый Негров ничего не замечал, ходил по-прежнему расспрашивать садовникову жену о состоянии фруктовых деревьев, и тот же мир и совет царил в патриархальном доме Алексея Абрамовича. Теперь мы можем возвратиться на балкон.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бегства своего Иосифа и прохладив себя несколько вечерним воздухом, пошла в спальню, и, как только осталась одна, то есть вдвоем с

²³ недоразумения (лат.).

²⁴ румян (фр.).

Элизой Августовной, она вынула письмо; ее обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдруг вскрикнула, как будто ящерица или лягушка, завернутая в письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничные вбежали в комнату, Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколон, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велела себе лить ее на голову... «Ah, le traître, le scélérat!»²⁵... можно ли было ожидать от этой скромницы!.. Англичанка-то наша... нет, этого хамова поколения ничем не облагородишь: ни искры благодарности, ничего!.. я отогрела змею на груди своей!» Элиза Августовна была в положении одного моего знакомого чиновника, который, всю жизнь успешно плутовав, подал в отставку, будучи уверен, что его нечем заменить; подал в отставку, чтоб остаться на службе, – и получил отставку: обманывая целый век, он кончил тем, что обманул самого себя. Как женщина сметливая, она поняла, в чем дело, поняла, какого маху она дала, да с тем вместе сообразила, что она и Глафира Львовна столько же в руках Круциферского, сколько он в их, сообразила, что, если ревность Глафиры Львовны раздражит его, он может уличить Элизу Августовну, и если не имеет средства доказать, то все же бросит недоверие в душу Алексея Абрамовича. Пока она обдумывала, как укротить гнев оставленной Дидоны, вошел в спальню Алексей Абрамович, зевая и осеняя крестом рот свой, – Элиза Августовна была в отчаянии.

– Алексис! – воскликнула негодующая супруга. – Никогда бы в голову мне не пришло, что случилось; представь себе, мой друг: этот скромный-то учитель – он в переписке с Любонькой, да в какой переписке, – читать ужасно; погубил беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтоб завтра его нога не была в нашем доме. Помилуй, перед глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенок, но это может подействовать на имажинацию²⁶.

Алексис не был одарен способностью особенно быстро понимать дела и обсуживать их. К тому же он был удивлен не менее, как в медовый месяц после свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахом отца позволить ей взять дитя преступной любви. Сверх всего этого, Негров хотел смертельно спать; время для доклада о перехваченной переписке было дурно выбрано: человек сонный может только сердиться на того, кто ему мешает спать, – нервы действуют слабо, все находится под влиянием усталости.

– Что такое? Какая переписка у Любы?

– Да, да, переписка у Любоньки с этим студентом... Благонравница-то наша... Уж признать, от такого рождения всегда бывают такие плоды!..

– Ну, что же в этой переписке? Стакнулись, что ли? А? Поди береги девку в семнадцать лет; недаром все одна сидит, голова болит, да то да се... Да я его, мошенника, жениться на ней заставляю. Что он, забыл, что ли, у кого в доме живет! Где письмо? Фу ты, пропасть какая, как мелко писано! Учитель, а сам писать не умеет, выводит мышиные лапки. Прочти-ка, Глаша.

– Я и читать не стану таких скандалей.

– Взор какой несет! Сорок лет бабе, а все еще туда же! Дашка, принеси очки из кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу в кабинет, принесла очки. Алексей Абрамович сел к свечке, зевнул, приподнял верхнюю губу, что придавало его носу очень почтенное выражение, прищурил глаза и начал с большим трудом, с каким-то тяжело книжным произношением читать:

«Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю вас; ваше имя Любовь...»

– Экой балясник какой! – прибавил генерал.

²⁵ Ах, изменник, злодей! (*фр.*)

²⁶ воображение (от *фр.* *imagination*).

«... Я ничего не надеюсь, я не смею и мечтать об вашей любви; но моя грудь слишком тесна, я не могу не высказать вам, что я вас люблю. Простите мне, у ваших ног прошу вас – простите...»

– Фу ты, вздор какой! Это еще начало первой страницы... нет, брат, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!.. Предупредить было не ваше дело? чего смотрели? зачем дали им стакнуться?.. Ну, да беда-то не велика, у бабы волос долог, да ум короток. Что нашли в письме? враки; а то есть насчет того ничего нет... А замуж Любу пора, и он чем не жених? Доктор говорит, что он десятого класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренее; пора спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядела... ну, да завтра поговорим!

И генерал стал раздеваться и через минуту захрапел, уснув с мыслию, что Крuciферский у него не отвертится, что он его женит на Любе, – ему наказание, а ее пристроит к месту.

Это был день неудач. Глафира Львовна никак не ожидала, что в уме Негрова дело это примет такой оборот; она забыла, как в последнее время сама беспрестанно говорила Негрову о том, что пора Любу отдать замуж; с бешенством влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а может быть, и в самом деле кусала их.

Бедный Крuciферский все это время лежал на траве; он так искренно, так от души желал умереть, что будь это во время дамского управления Парок, они бы не вытерпели и перерезали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянию и страху, страху и стыду, изнеможенный, он кончил тем, чем начал Алексей Абрамович, то есть уснул. Не будь у него *febris erotica*²⁷, как выражался насчет любви доктор Крупов, у него непременно сделалось бы *febris catharralis*²⁸, но тут холодная роса была для него благотворна: сон его, сначала тревожный, успокоился, и, когда он проснулся часа через три, солнце всходило... Гейне совершенно прав, говоря, что это – старая штука: отсюда оно всходит, а там садится; тем не менее эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленного – и говорить нечего. Воздух был свеж, полон особого внутреннего запаха; роса тяжелыми, беловатыми массами подавалась назад, оставляя за собою миллионы блестящих капель; пурпуровое освещение и непривычные тени придавали что-то новое, странно изящное деревьям, крестьянским избам, всему окружающему; птицы пели на разные голоса; небо было чисто. Дмитрий Яковлевич встал, и на душе у него сделалось легче; перед ним вилась и пропадала дорога, он долго смотрел на нее и думал; не уйти ли ему по ней, не убежать ли от этих людей, поймавших его тайну, его святую тайну, которую он сам уронил в грязь? Как он воротится домой, как встретится с Глафирой Львовной... лучше бы бежать! Но как же оставить ее, где найти силы расстаться с нею?.. И он тихими шагами пошел назад. Вошедши в сад, он увидел в липовой аллее белое платье; яркий румянец выступил у него на щеках при воспоминании о страшной ошибке, о первом поцелуе; но на этот раз тут была Любонька; она сидела на своей любимой лавочке и задумчиво, печально смотрела вдаль. Дмитрий Яковлевич прислонился к дереву и с каким-то вдохновенным упоением смотрел на нее. В самом деле, в эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее: ей было грустно, и грусть эта придавала нечто величественное чертам ее, энергическим, резким, юно-прекрасным. Молодой человек долго стоял, погруженный в созерцание; его взгляд был полон любви и благочестия; наконец он решился подойти к ней. Необходимость с нею поговорить была велика: ее надобно было предупредить насчет письма. Любонька несколько смутилась, увидя Крuciферского, но тут не было никакой натяжки, ничего театрального; бросив быстро взгляд на утренний наряд свой, в котором она не ожидала встречи ни с кем, и так же быстро оправив его, она подняла спокойный, благородный взгляд на Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич стоял перед нею, сложив руки на груди; она встретила взор

²⁷ любовной лихорадки (*лат.*).

²⁸ катаральная лихорадка (*лат.*).

его, умоляющий, исполненный любви, страдания, надежды, упоения, и протянула ему руку; он сжал ее со слезами на глазах... Господа! Как в юности хорош человек!..

Признание, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, с той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима; но это было нечто подразумеваемое, не названное словом; теперь слово было произнесено, и она вечером писала в своем журнале:

«Едва могу сколько-нибудь привести в порядок мои мысли. Ах, как он плакал! Боже мой, боже мой! Я никогда не думала, чтоб мужчина мог так плакать. Его взгляд одарен какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не от страха; его взгляд так нежен, так кроток, кроток, как его голос... Мне так жаль его было; кажется, если б я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцеловала бы его для того, чтоб утешить. Он был бы счастлив... Да, он любит меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница между ним и всеми, кого я видала! Как он благороден, нежен! Он мне рассказывал о своих родителях: как он их любит! Зачем он мне сказал: «Будь моей Алиной!», у меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я могу быть его, оставаясь собою... Достойна ли я любви его? Мне кажется, что не могу так сильно любить! Опять эта черная мысль, вечно терзающая меня...»

– Прощайте, – сказала Любонька, – да перестаньте же так бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю их.

Она пожала ему руку так дружески, так симпатично и скрылась за деревьями. Круциферский остался. Они долго говорили. Круциферский был больше счастлив, нежели вчера несчастлив. Он вспоминал каждое слово ее, носился мечтами бог знает где, и один образ переплетался со всеми. Везде она, она... Но мечтам его положил предел казачок Алексея Абрамовича, прошедший звать его к нему. Утром в такое время его ни разу не требовал Негров.

– Что? – спросил его Круциферский с видом человека, которому на голову вылили ушат холодной воды.

– Да то-с, что к барину пожалуйте, – отвечал казачок довольно грубо.

Видно было, что история письма проникла в переднюю.

– Сейчас, – сказал Круциферский, полумертвый от страха и стыда.

Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнения, что Любонька его любит: чего ему еще? Однако он был ни жив ни мертв от страха, да и был ни жив ни мертв от стыда; он никак не мог сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Он не мог себе представить, как встретится с нею. Известное дело, что совершались преступления для поправки неловкости...

– А что, любезнейший, – сказал Негров, с видом величественным и приличным важному делу, его занимавшему, – а что, это у вас в университете, что ли, обучают цидульки-то любовные писать?

Круциферский молчал; он был так взволнован, что тон Негрова его не оскорблял. Этот вид, растерянный и страдающий, прищипорил храброго Алексея Абрамовича, и он чрезвычайно громко продолжал, глядя прямо в лицо Дмитрию Яковлевичу:

– Как же вы, милостивый государь, осмелились в моем доме заводить такие пашни? Да что же вы думаете об моем доме? Да и я-то что, болван, что ли? Стыдно, молодой человек, и безнравственно совращать бедную девушку, у которой ни родителей, ни защитников, ни sostояния... Вот нынешний век! Оттого что всему учат вашего брата – грамматике, арифметике, а морали не учат... Ославить девушку, лишить доброго имени...

– Да помилуйте, – отвечал Круциферский, у которого мало-помалу негодование победило сознание нелепого своего положения, – что же я сделал? Я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вероятно, потому, что отца звали Алексеем, а камердинера, мужа

ее матери, Аксёном) и осмелился высказать это. Мне самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви, – я не знаю, как это случилось; но что же вы находите преступного? Почему вы думаете, что мои намерения порочны?

– А вот почему: если б вы имели честные намерения, так вы бы не стали с толку сбивать девушку своими биле-ду²⁹, а пришли бы ко мне. Вы знаете, по плоти я ей отец, так вы бы и пришли ко мне, да и попросили бы моего согласия и позволения; а вы задним крыльцом пошли, да и попались, – прошу на меня не пенять, я у себя в доме таких романов не допущу; мудреное ли дело девке голову вскружить! Нет, не ожидал я от вас; вы мастерски прикидывались скромником; и она-то отличилась, поблагодарила за воспитание и за попечение! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

– Письмо в ваших руках, – заметил Круциферский, – вы из него можете увидеть, что оно первое.

– Первый блин, да комом. А что, в этом первом письме вы просите ее руки, что ли?

– Я не смел и думать.

– Как это на одно так смелы, а на другое робки? С какою же целью вы писали мышинные лапки на целом почтовом листе кругом?

– Я, право, – отвечал Круциферский, пораженный словами Негрова, – не смел и думать о руке Любови Александровны: я был бы счастливейший из смертных, если б мог надеяться...

– Красноречие – вот вас этому-то там учат, морочить словами! А позвольте вас спросить: если б я и позволил вам сделать предложение и был бы не прочь выдать за вас Любу, – чем же вы станете жить?

Негров, конечно, не принадлежал к особенно умным людям, но он обладал вполне нашей национальной сноровкой, этим особым складом практического ума, который так резко называется: себе на уме. Выдать Любу замуж за кого бы то ни было – было его любимой мечтою, особенно после того, как почтенные родители заметили, что при ней милая Лизонька теряет очень много. Гораздо прежде письма Алексею Абрамовичу приходило в голову женить Круциферского на Любоньке, да и пристроить его где-нибудь в губернской службе. Мысль эта явилась на том основании, на котором он говорил, что если секретарик добренький подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло в голову, когда он открыл любовь Круциферского, – заставить его жениться; он думал, что письмо было шалостью, что молодой человек не так-то легко наденет на себя ярмо брачной жизни; из ответов Круциферского Негров ясно видел, что тот жениться не прочь, и потому он тотчас переменял сторону атаки и завел речь о состоянии, боясь, что Круциферский, решась на брак, спросит его о приданом.

Круциферский молчал; вопрос Негрова придавил чугуной плитой его грудь.

– Вы, – продолжал Негров, – вы не ошибаетесь ли насчет ее состояния? У нее ничего нет и ждать неоткуда; конечно, из моего дома я выпущу ее не в одной юбке, но, кроме тряпья, я не могу ничего дать: у меня своя невеста растет.

Круциферский заметил, что вопрос о приданом совершенно чужд для него. Негров был доволен собою и думал про себя: «Вот настоящая овца, а еще ученый!»

– Вот то-то, любезнейший; с конца добрые люди не начинают. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать с толку, надобно бы подумать, что вперед; если вы в самом деле ее любите да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущем устройстве?

– Что мне делать? – спросил Круциферский голосом, который потряс бы всякого человека с душою.

– Что делать? Ведь вы – классный чиновник да еще, кажется, десятого класса. Арифметику-то да стихи в сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить – надобно

²⁹ любовными записками (от *фр. billet doux*).

быть полезным; подите-ка на службу в казенную палату: вице-губернатор нам свой человек; со временем будете советником, – чего вам больше? И кусок хлеба обеспечен, и почетное место.

Отроду Круциферскому не приходило в голову идти на службу в казенную или в какую бы то ни было палату; ему было так же мудрено себя представить советником, как птицей, ежом, шмелем или не знаю чем. Однако он чувствовал, что в основе Негров прав; он так был непроницателен, что не сообразил оригинальности Негрова, который уверял, что у Любоньки ничего нет и что ей ждать неоткуда, и вместе с тем распоряжался ее рукой, как отец.

– Я мог бы лучше занять место учителя гимназии, – сказал наконец Дмитрий Яковлевич.

– Ну, это будет поплоче. Что такое учитель гимназии? Чиновник и нет, и к губернатору никогда не приглашают, разве одного директора, жалование бедное.

Последняя речь была произнесена обыкновенным тоном; Негров совершенно успокоился насчет негоциации и был уверен, что Круциферский из его рук не ускользнет.

– Глаша! – закричал Негров в другую комнату. – Глаша!

Круциферский помертвел; он думал, что последний поцелуй любви для Глафиры Львовны так же был важен и поразителен, как для него первый поцелуй, попавшийся не по адресу.

– Что тебе? – отвечала Глафира Львовна.

– Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себе гордую и величественную мину, которая, разумеется, к ней не шла и которая худо скрывала ее замешательство. По несчастию, Круциферский не мог этого заметить: он боялся взглянуть на нее.

– Глаша! – сказал Негров. – Вот Дмитрий Яковлевич просит Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, как дочь родную, и имеем право располагать ее рукою; ну, а все же не мешает с нею поговорить; это твое женское дело.

– Ах, боже мой! вы сватаетесь? какие новости! – сказала с горечью Глафира Львовна. – Да это сцена из «Новой Элоизы»!

Если б я был на месте Круциферского, то сказал бы, чтоб не отстать в учености от Глафиры Львовны: «Да-с, а вчерашнее происшествие на балконе – сцена из „Фоблаза”», – Круциферский промолчал.

Негров встал в ознаменование конца заседания и сказал:

– Только прошу не думать о Любонькиной руке, пока не получите места. После всего советую, государь мой, быть осторожным: я буду иметь за вами глаза да и глаза. Вам почти и оставаться-то у меня в доме неловко. Навязали и мы себе заботу с этой Любонькой!

Круциферский вышел. Глафира Львовна с величайшим пренебрежением отзывалась о нем и заключила свою речь тем, что такое холодное существо, как Любонька, пойдет за всякого, но счастья не может доставить никому.

На другой день утром Круциферский сидел у себя в комнате, погруженный в глубокую думу. Едва прошли двое суток после чтения «Алины и Альсима», и вдруг он почти жених, она его невеста, он идет на службу... Что за странная власть рока, которая так распоряжается его жизнью, подняла его на верх человеческого благополучия, и чем же? Подняла тем, что он поцеловал одну женщину вместо другой, отдал ей чужую записку. Не чудеса ли, не сон ли все это? Потом он припоминал опять и опять все слова, все взгляды Любоньки в липовой аллее, и на душе у него становилось широко, торжественно.

Вдруг слышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лестнице, которая вела к нему в комнату. Круциферский вздрогнул и с каким-то полустрахом ждал появления лица, поддерживаемого такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошел наш старый знакомый доктор Крупов; появление его весьма удивило кандидата. Он всякую неделю ездил раз, а иногда

и два к Негрову, но в комнату Круциферского никогда не ходил. Его посещение предвещало что-то особенное.

– Этакая проклятая лестница! – сказал он, задыхаясь и обтирая белым платком пот с лица. – Нашел же Алексей Абрамович для вас комнату.

– Ах, Семен Иванович! – произнес быстро кандидат и покраснел бог знает почему.

– Ба! – продолжал доктор. – Да какой вид из окон! Это вон вдали-то белеется дубасовская церковь, что ли, вот вправо-то?

– Кажется; наверное, впрочем, не знаю, – отвечал Круциферский, пристально посмотрев налево.

– Студент, неизлечимый студент! Ну, как живете вы здесь месяцы и не знаете, что из окна видно. Ох, молодость!.. Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

– Я, слава богу, здоров, Семен Иванович.

– Вот вам и слава богу, – продолжал доктор, подержав руку Круциферского, – я знал это: усиленный и неравномерный. Позвольте-ка... раз, два, три, четыре... лихорадочный, жизненная деятельность сильно поднята. Вот с таким-то пульсом человек и решается на всякие глупости: бейся пульс ровно, тук, тук, тук, никогда бы вы не дошли до этого. Мне там, внизу, почтеннейший мой, говорят: «Хочет-де жениться», – ушам не верю; ну, ведь малый, думаю, не глупый, я же его и из Москвы привез... не верю; пойду посмотрю; так и есть: усиленный и неравномерный; да при этом пульсе не только жениться, а черт знает каких глупостей можно наделать. Ну, кто же в лихорадочном состоянии решится на такой важный шаг? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите орган мышления, то есть мозг, в нормальное состояние, чтоб кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь, ну, так, чайную чашечку с половинкой?

– Покорнейше благодарю; я не чувствую никакой нужды.

– Где же вам знать, что нужно и что нет: ведь вы медицине совсем не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопускания, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дам.

– Я вам очень благодарен за участие, но должен предупредить вас, что я здоров и вовсе не шутя, а в самом деле хочу (здесь он запнулся) ... жениться и не понимаю, что вы имеете против моего благополучия.

– Очень многое! – Старик сделал пресерьезное лицо. – Я вас люблю, молодой человек, и потому жалею. Вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мне мою юность, много прошедшего напомнили; я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением. Ну, как вам жениться в ваши лета? Ведь это Негров вас надул... Вот видите ли, как вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я вас заставлю выслушать меня; лета имеют свои права...

– О, нет, Семен Иванович, – сказал молодой человек, несколько смешавшись от слов старика, – я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение; мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно.

– О, если бы только то вы имели против моего мнения, это – сущая безделица; никогда не поздно остановиться. Брак... у-у какое тяжелое дело! Беда в том, что одни те и не думают, что такое брак, которые вступают в него, то есть после-то и раздумают на досуге, да поздненько: это все – febris erotica; где человеку обсудить такой шаг, когда у него пульс бьется, как у вас, любезный друг мой? Вы понтируете на все свое состояние: может быть, и удастся сорвать банк, может... да какой же умный человек будет рисковать? Ну, да в картах сам виноват, сам и наказан; по делам вору мука. А в женитьбе непременно с собою топишь еще человека. Эй, Дмитрий Яковлевич, подумай! Я верю, что вы ее любите, что и она вас любит, но это ничего не значит. Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях: уедете куда-нибудь – пройдет; женитесь – еще скорее пройдет; я сам был влюблен и не раз, а раз пять, но бог спас; и я, возвращаясь

теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю от своих трудов; день я весь принадлежу моим больным, вечером в вистик сыграешь, да и ляжешь себе без заботы... А с женою хлопоты, крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи! Трудно жить на месте, трудно перебираться; пойдут мелкие сплетни, вертись около своего очага, книгу под лавку; надобно думать о деньгах, о запасах. Теперь, хоть бы об вас молвить: придет иной раз нужда – что за беда, всякое бывает! Мы, бывало, с Антоном Фердинандовичем, – знакомый вам человек, – денег какой-нибудь рубль, а есть и курить хочется, – купим четверку «фалеру», так уж, кроме хлеба, ничего и не едим, а купим фунт ветчины, так уж не курим, да оба и хохочем над этим, и все ничего; а с женой не то: жену жаль, жена будет реветь...

– О, нет! Эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду. Вы ее не знаете!

– Это-то, любезнейший, еще хуже; как бы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюнешь, да и прочь пойдешь, а как будет молчать да худеть, а ты-то себе: «Бедная, за что я тебя стащил на антониеву пищу»... Поломаешь голову, как бы достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь, – вот ты подумаешь, подумаешь да для освежения головы и хватишь горьконького; оно ничего – я сам употребляю желудочную, – а знаешь, как вторую с горя-то да третью... понимаешь? Ну, да, положим, что и будет кусок хлеба... то есть не больше; ведь она хоть и дочь Негрову, а Негров-то хоть и богат, да ведь я его знаю – не разгуляется! Вот за дочерью-то он приготовил пятьсот душ, ну а Любоньке разве пять тысяч рублей даст, – что за капитал?.. Ох, жаль мне тебя, Дмитрий Яковлевич! Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают, – ты-то бы поберег себя. Я бы предложил вам другое место; поскорее отсюда вон – любовь-то и порассеялась бы; у нас в гимназии открылась хорошая ваканция. Не ребячься, будь мужчина!

– Право, Семен Иваныч, я благодарен вам за участие; но все это совершенно лишнее, что вы говорите: вы хотите застрашать меня, как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнью, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастье; сам бог устроил это дело.

– Эх его! – сказал неумолимый Крупов. – А все я его погубил: ну, зачем было рекомендовать в этот дом! Бог устроил – как же! Негров тебя надул да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет да в спальню. Я много видел на своем веку людей и ни одного не пропускал, чтобы не рассмотреть его на обе корки. Вы ведь все людей видите в ливреях да в маскарадных платьях, – а мы за кулисы ходим; нагляделся я на семейные картины; стыдиться-то тут некого, люди тут нараспашку, без церемонии. Номо sapiens³⁰ – какой sapiens, к черту! – ferus³¹, зверь, самый дикий, в своей берлоге кроток, а человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя... К чему, бишь, я это начал?.. да... да... ну, так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста, уж что ты хочешь, – эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу, – она тигреночка, который еще не знает своей силы; а ты – да что ты? Ты – невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена, – ну, годно ли это?

Круциферский обиделся последней выходкой и, против своего обыкновения, довольно холодно и сухо сказал:

– Есть случаи, в которых принимающие участие помогают, а не читают диссертации. Может быть, все то, что вы говорите, правда, – я не стану возражать; будущее – дело темное; я знаю одно: мне теперь два выхода, – куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет: или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком.

– Лучше броситься в воду: разом конец! – сказал Крупов, тоже несколько оскорбленный, и вынул красный платок.

³⁰ Человек разумный (лат.).

³¹ дикий (лат.).

Разговор этот, само собою разумеется, не принес той пользы, которой от него ждал доктор Крупов; может быть, он был хороший врач тела, но за душевные болезни принимался неловко. Он, вероятно, по собственному опыту судил о силе любви: он сказал, что был несколько раз влюблен, и, следственно, имел большую практику, но именно потому-то он и не умел обсудить такой любви, которая бывает один раз в жизни.

Крупов ушел рассерженный и вечером того дня за ужином у вице-губернатора декламировал полтора часа на свою любимую тему – бранил женщин и семейную жизнь, забыв, что вице-губернатор был женат на третьей жене и от каждой имел по несколько человек детей. Слова Крупова почти не сделали никакого влияния на Круциферского, – я говорю почти, потому что неопределенное, неясное, но тяжелое впечатление осталось, как после зловещего крика ворона, как после встречи с покойником, когда мы торопимся на веселый пир. Все это изгладилось, само собою разумеется, при первом взгляде Любоньки.

– Повесть, кажется, близка к концу, – говорите вы, разумеется, радуясь.

– Извините, она еще не начиналась, – отвечаю я с должным почтением.

– Помилуйте, остается послать за священником!

– Да-с; но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтоб он соборовал маслом, да и то иной раз не конец. А когда служитель церкви является с тем, чтоб венчать, то это начало совсем новой повести, в которой только те же лица. Они не замедлят явиться перед вами.

V. Владимир Бельтов

В ***, – впрочем, нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время, – в XIX столетии были в губернском городе NN дворянские выборы. Город оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей; часто были видны помещицы зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи целой дворней, в шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами; часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам; другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещицы лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в *губернию*, и отставной корнет Дрягалов был уж налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги; он ездил в пять губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки и нигде *не проигрывался*, несмотря на то что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрящов, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо; он являлся на выборы давать четыре бала и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фраки, покоившиеся целое трехлетие, переложенные табачным листом, с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму; вместе с ними явились и странные мундиры всех времен: и милиционные, и с двумя рядами пуговиц, и однобортные, и с одной эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты; три года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины; те же лица, а будто не те: гений разрушения оставил на каждом свои следы; а со стороны, с чувством, еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное, и эти три года так же прошли, как и тринадцать, как и тридцать лет, предшествовавшие им...

Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель канцелярии гражданского губернатора третий день ломал голову над про-

ектом речи; он испортил две дести бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное NN-ское дворянство!..», тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать: «Позвольте мне снова в среде вашей» или: «Радуюсь, что я в среде вашей снова»... И он говорил старшему помощнику:

– Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в семьсот раз разобрать, нежели написать речь!

– Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовые сочинения»; там, я помню, есть речи.

– Славная мысль! – сказал правитель дел, страшно больно хлопнув по плечу своего помощника. – Ай да Куприян Куприянович!

Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке да раз по самому себе. И он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из «Марфы Посадницы» Карамзина.

Среди этих всеобщих и трудных занятий вдруг внимание города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому не известное лицо, – лицо, которого никто не ждал, ни даже корнет Дрягалов, ждавший всех, – лицо, о котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось, как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском дормезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов; чего у него недовешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения; это-то имение, Белое Поле, очень подробно знали избираемые и избиратели; но владетель Белого Поля был какой-то миф, сказочное, темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так, как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии, – вещи странные для нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру; потом, вслед за тем, говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку назло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие; с этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно им свидетельствовать почтение; вероятно ли, что Бельтов осмелился?.. Нет, разве навлек на себя справедливый гнев, разве проигрался в карты, или спился, или увез у кого-нибудь дочь, то есть не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию; к этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно! – говорили многие. – Он с малых лет был как брошенный; отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился; мать – вы знаете, какого происхождения; притом женщина пустая, *экзальте*, да и гувернер им попался преразвращенный, никому не умел оказывать должного». Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года три совсем о нем не говорили, и вдруг это странное лицо, совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию на веки веков, – явился перед NN-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтобы приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом было чрезвычайно много непонятного для NN-ских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом: Париж – и дворянское депутатское собрание, 3000 душ – и чин губернского секретаря... Ну, было над чем потрудиться и без того занятым NN-цам.

Сильнейшая голова в городе был, бесспорно, председатель уголовной палаты; он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество, к нему ездили совещаться о семейных делах; он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник – инспектор врачебной управы Крупов, и председатель как-то действительно кон-

фузился при нем; но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ, особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича; но может ли человек понять сердце женщины, может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?» – Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собою разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов: что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда? – Но Антон Антонович был не такой человек, к которому можно было так вдруг адресоваться: «Что вы думаете о г. Бельтове?» Далеко нет; он даже, как нарочно (а весьма может быть, что и в самом деле нарочно), три дня не был видим ни на висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хрящова. Всех любопытнее, с своей стороны, и всех предприимчивее в городе был один советник с Анною в петлице, употреблявший чрезвычайно ловко свой орден, так, что, как бы он ни сидел или ни стоял, орден можно было видеть со всех точек комнаты. Этот носитель ордена св. Анны в петлице решился в воскресенье от губернатора (у которого он не мог не быть в воскресные и праздничные дни) заехать на минуту в собор и, если председателя там нет, ехать прямо к нему. Подъезжая к собору, советник спросил квартального поручика: тут ли председательские сани? – «Никак нет-с, – отвечал квартальный, – да, должно быть, их высокородие и не будут, потому что сейчас я видел, их кучер Пафнушка шел в питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важным советнику: не поедет же Антон Антонович в кафедральный собор, подумал он, на одной лошади, а где же Никешке-форейтору справиться с парой буланых! И он, не заходя уж в собор, отправился к председателю.

Председатель, вовсе не ожидая посещения, сидел в своем домашнем костюме, состоявшем из какой-то длинной вязаной куртки, из широких панталон и валяных сапогов на ногах. Он был не велик ростом, широкоплеч и с огромной головой (ум любит простор); все черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознания своей силы. Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как следует говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть, да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова; остальным в голову не приходило спорить с ним, хотя многие и не соглашались; сам губернатор, чувствуя внутри себя все превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться. Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения – это просто Массильон! Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам». – Итак, этот-то господин, много потерявший из любви к наукам, сидел в куртке перед своим письменным столом; подписав разные протоколы и выставив в пустом месте достождное *число ударов* за корчемство, за бродяжество и т. п., он досуха обтер перо, положил его на стол, взял с полочки книгу, переплетенную в сафьян, раскрыл ее и начал читать. Мало-помалу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтение продолжалось недолго; явился на сцену советник с Анной в петлице.

– А я-с как беспокоился на ваш счет, ей-богу! К губернатору поздравить с праздником приехал, – вас, Антон Антонович, нет; вчера не изволили на висте быть; в собор – ваших саней нет; думаю, – не ровён час, ведь могли и занемочь; всякий может занемочь... от слова ничего не сделается. Что с вами? Ей-богу, я так встревожился!

– Покорнейше вас благодарю; я, слава всевышнему, не жалуюсь на здоровье; а вас прошу занять место, почтеннейший господин советник.

– Ах, Антон Антонович! Я, кажется, помешал вам: вы изволили читать.

– Ничего, мой почтеннейший, ничего; у меня есть время для муз и есть для добрых приятелей.

– Вот-с, Антон Антонович! Я полагаю, насчет новеньких книжечек можно теперь вам понабдаться...

– Не люблю новых, – прервал председатель дипломата-советчика, – не люблю-с новых книг. Вот и теперь перечитывал «Душеньку» в сотый раз и, истинно уверяю вас, с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое *востроумие*! – Да, Ипполит Федорович не завещал никому таланта.

Тут председатель прочел:

Злоумна ненависть, судя повсюду строго, Очей имеет много И видит сквозь покров закрытые дела. Вотще от сестр своих царевна их скрывала. И день, и два, и три притворство продолжала, Как будто бы она супруга въявь ждала. Сестры темнили вид, под чем он был неявен, Чего не вымыслит коварная хула? Он был, по их речам, и страшен и злонравен.

– Вот-с, – перебил в свою очередь советник, – это точно слово в слово, как у нас теперь говорят об вояжере, посетившем наш город; охота, право, пустословить.

Председатель посмотрел на него строго и, как будто ничего не видал и не слышал, продолжал:

Он был, по их речам, и страшен и злонравен. И, верно, Душенька с чудовищем жила. Советы скромности в сей час она забыла, Сестры ли в том виной, судьба ли то, иль рок, Иль Душенькин то был порок, Она, вздохнув, сестрам открыла, Что только тень одну в супружестве любила, Открыла, как и где приходит тень на срок, И происшествия подробно рассказала, Но только лишь сказать не знала, Каков и кто ее супруг, Колдун, иль змей, иль бог, иль дух.

– Вот эти стихи не звук пустой, а стихи с душою и с сердцем. Я, мой почтеннейший господин советник, по слабости ли моих способностей или по недостатку светского образования, не понимаю новых книг, с Василия Андреевича Жуковского начиная.

Советник, который отроду ничего не читал, кроме резолюций губернского правления, и то только своего отделения, – по прочим он считал себя обязанным высшей деликатностью подписывать, не читая, – заметил:

– Без сомнения; а вот я полагаю, что приезжие из столицы не так думают.

– Что нам до них! – ответил председатель. – Знаю и очень знаю, все *повременные* издания ныне хвалят Пушкина; читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет, а для меня, когда здесь нет (он ошибкою показал на правую сторону груди), так одно пустословие.

– Я сам чрезвычайно люблю чтение, – прибавил советник, которому никак не удавалось овладеть предметом разговора, – да времени совсем не имею: утро провоозишься с проклятыми бумагами, в делах правления истинно мало пищи уму и сердцу, а вечером бостончик, вистик.

– Кто хочет читать, – возразил, воздержно улыбаясь, председатель, – тот не будет всякий вечер сидеть за картами.

– Конечно, так-с; вот, например, говорят об этом-с Бельтове, что он в руки карт не берет, а все читает.

Председатель промолчал.

– Вы, верно, изволили слышать об его приезде?

– Слышал что-то подобное, – отвечал небрежно философ-судия.

– Говорят, страшной учености; вот-с будет вам под пару, право-с; говорят, что даже по-итальянски умеет.

– Где нам, – возразил с чувством собственного достоинства председатель, – где нам! Слыхали мы о господине Бельтове: и в чужих краях был, и в министерствах служил; куда нам, провинциальным медведям! А впрочем, посмотрим. Я лично не имею чести его знать, – он не посещал меня.

– Да он и у его превосходительства не был-с, а ведь приехал, я думаю, дней пять тому назад... Точно, сегодня в обед будет пять дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицеймейстера, и, как теперь помню, за *пудином* услышали мы колокольчик; Максим Иванович, – знаете его слабость, – не вытерпел: «Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите», подбежал к окну и вдруг закричал: «Карета шестерней, да какая карета!» Я к окну: точно, карета шестерней, отличнейшая, – Иохима, должно быть, работа, ей-богу. Полицеймейстер сейчас унтера... «Бельтов-де из Петербурга».

– Мне, сказать откровенно, – начал председатель несколько таинственно, – этот господин подозрителен: он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащится девятьсот верст на выборы, имея три тысячи душ!

– Конечно-с, сомнения нет. Признаюсь, дорого дал бы я, чтоб вы его увидели: тогда бы тотчас узнали, в чем дело. Я вчера после обеда прогуливался, – Семен Иванович для здоровья приказывает, – прошел так раза два мимо гостиницы; вдруг выходит в сени молодой человек, – я так и думал, что это он, спросил полового, говорит: «Это – камердинер». Одет, как наш брат, нельзя узнать, что человек... Ах, боже мой, да у вашего подъезда остановилась карета!

– Что ж вас это удивляет? – возразил стоический председатель. – Меня нередко посещают добрые знакомые.

– Да-с; но, может быть...

В эту минуту вошла в комнату толстая, румяная горничная, в глубоком дезабилье, и сказала: «Приехал какой-то помещик в карете; я его не видала прежде, принимать, что ли?»

– Подай мне халат, – сказал председатель, – и проси...

Что-то вроде улыбки показалось на лице его в то время, как он облакался в свой шелковый халат цвета лягушечьей спинки. Советник встал со стула и был в сильном волнении.

Человек лет тридцати, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались. Председатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся с кресел и показывал, стоя на одном месте, вид, будто он идет навстречу.

– Я – здешний помещик Бельтов, приехал сюда на выборы и счел себя обязанным познакомиться с вами.

– Чрезвычайно рад, – сказал председатель, – чрезвычайно рад и прошу покорнейше, милостивый государь, занять место.

Все сели.

– Недавно изволили приехать?

– Дней пять тому назад.

– Откуда?

– Из Петербурга.

– Ну, вам после столичного шума будет очень скучно в монотонной жизни маленького провинциального городка.

– Не знаю, но, право, не думаю; мне как-то в больших городах было очень скучно.

Оставимте на несколько минут, или на несколько страниц, председателя и советника, который, после получения Анны в петлицу, ни разу не был в таком восторге, как теперь: он пожирал сердцем, умом, глазами и ушами приезжего; он все высмотрел: и то, что у него жилет был не застегнут на последнюю пуговицу, и то, что у него в нижней челюсти с правой стороны зуб был выдернут, и проч. и проч. Оставимте их и займемтесь, как NN-цы, исключительно странным гостем.

VI

Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была экзальте и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастью, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой; лет пяти ее взяли во двор; у ее барыни были две дочери и муж; муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в Воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову; она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешиванья маслом до порубки в чужих рощах *и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью*, – все было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда), – и, надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе трех-четырёх дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают Закон Божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Paul et Virginie»³². Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток, ей принадлежащих, адресовалась к ней, – потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через два-три приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе тридцати лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтоб он был решительно пропащий человек: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь фунтов грязи», как выражается один мой знакомый, но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку; имение его было в пяти верстах от теткиной усадьбы. Софи (так звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лет двадцать, – высокая ростом, брюнетка, с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным; он, вопреки Вобановой системе, не повел *дальних апрошей*, а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию, расцеловал и звал очень усердно пройтись вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили

³² «Поль и Виргиния» (фр.).

ее; без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом, Бельтов начал ее преследовать своей любовью, дарил ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обещал брегетовские часы, которых у него не было, и не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы; он и ревновать принимался, но не мог найти к кому; наконец, раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани, – и это не помогло; тогда ему пришла другая мысль в голову: предложить тетке большие деньги за Софи, – он был уверен, что алчность победит ее выставляемое целомудрие; но как человек, вечно поступавший очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке; разумеется, это ее испугало, более всего прочего, она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох; старуха, не зная Талейранова правила – «никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо», – тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос двух тысяч рублей. «Я сама, – сказала она ей, – заплатила за тебя эти деньги; а корм и платье, с тех пор потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк, рублей сто двадцать, и я велю Платошке написать паспорт; он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный и что особых примет не оказалось, кроме *по-французски говорит*; а через месяц Софи упростила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою; кибитку нагроулили грибами, вареньем, медом, мочеными и сушеными ягодами, назначенными в подарки; жена управляющего оставила только место для себя; Софи поместилась на какой-то кадке, которая в продолжение девятисот верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах; он был долговязый малый, лет четырнадцати, кутивший нежинские корешки и более развитый, нежели казалось; он всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. А *propos*³³, Бельтов сделал опыт увести Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и, вероятно, бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги. С досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был, компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более, нежели по уши; впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кой-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни, и потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с француженкой Жукур, содержательницей пансиона. Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лет и носившая платья с высоким воротом из стыдливости, была неумолимо строга к нравственности ближнего; говоря о том о сем, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой престранное существо, принадлежащее NN-ской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно – ха, ха, ха, ха, – помилуйте, да я ее тысячу раз видал у Бельтова, куда она таскалась по ночам, когда у тетки в доме все спали». Потом, ревнуя о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга, кричала: «*Quelle demoralisation dans ce pays barbare!*»³⁴, забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу их улицы, воспитывались два

³³ Кстати (*фр.*).

³⁴ Какой разврат в этой варварской стране! (*фр.*)

ребенка, разом родившиеся, из которых один был похож на Жукур, а другой – на кочующего друга. Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому самым грубым образом, забыв второпях отдать ей следующие деньги. – Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти – всем остальным в Петербурге. Куда ни адресовалась бедная девушка, везде ей указывали дверь. Она стала искать частного места, но где найти – знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд, и довольно выгодное, но мать прежде, нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур – и потом благодарила провидение за спасение дочери. Софи подождала еще неделю, пересчитала свои деньги, – у ней было тридцать пять рублей и никаких надежд; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала наконец в пятый, если не шестой, этаж огромного дома в конце Гороховой, набитого всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна не вовсе просохнувшего озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене; оттуда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями, бесконечная лестница, на которую отворялись, при каждой площадке, две-три двери; в самом верху, на финском небе, как выражаются петербургские остряки, нанимала комнатку немка-старуха; у нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки, вязала чулки по будням и читала Лютеров перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три; из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их внаем, вместе с окном, от которого на пол-аршина возвышалась боковая, некрашенная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар; в этом будуаре было грязно, черно, сыро и чадно; дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами, заплывшими золотухой; кругом все было битком набито пьяными мастеровыми; лучшую квартиру в этом этаже занимали швеи; никогда не было, по крайней мере днем, заметно, чтоб они работали, но по образу жизни видно было, что они далеки от крайности; кухарка, жившая у них, ежедневно раз пять бегала в полпивную с кувшином, у которого был отбит нос... Все старания найти место были тщетны; добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, поразведать, нет ли какого места? Та обещала, но ничего не представилось. Софи решилась на последнее: она стала искать места горничной и нашла было одно; в цене сошлись, но *особая примета* в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала розовым пивом; она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, с гордостью захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У нас немка из Риги живет не хуже тебя собой». Вечером начальница с колкой иронией отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов, и так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее:

– Что, фрау-мадам, как живете-можете? А? Пора бы ведь за ногами!

Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвидимых случаев, отвечала:

– Што телить, бог не перебирай!

– Ну, а где же эта Телебеевой девка, Софья Немчинова?

– Здесь, – отвечала Софи.

– Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут-девка, должно быть; ну-тка, поговори по-французски.

Софи молчала.

– Видно, не умеешь? Ну, что-нибудь скажи-ка.

Софи молчала, и ее глаза были полны слез.

– Фрау-мадам, что, умеет она по-вашему?

– Ошень карашо!

– Небось, как ты – вприсядку плясать... а что вы этак настоечки не держите? Я что-то прозяб.

– Нет, – отвечала немка.

– Плохо, ну, а это яблоко чье? (Яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла с середины, чтоб закусить им Лютеров перевод Библии в воскресенье.)

– Мой, – отвечала немка.

– Ну, где тебе его раскусить; вот ведь француженка эта съест у тебя; ну, прощайте, – сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился, с яблоком в кармане, к швеям.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она следила бы как-нибудь, нашлась бы и тут; но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в десять раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной, будничной наружностью, под которой порок выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову, она хотела себя казнить, чтоб выйти из безвыходного положения; она тем ближе была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть; были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце; в одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала, в каком-то торжественном гневном, письмо к Бельтову. Вот оно:

«Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам, пишу для того только, чтоб иметь последнюю, может быть, радость в моей жизни – высказать вам все презрение мое; я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма; я буду жить мыслию, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, в доме вашей тетушки, показали мне в вас безнравственного шалуна, бездушного развратника; я еще, разумеется, по неопытности, извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь; я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, гнусная, подлая клевета, показала мне всю меру вашей низости, даже не злодейства, а именно низости: вы решились из мести, из мелкого самолюбия погубить беззащитную девушку, налгать на нее. И за что? Разве вы в самом деле любили меня? Спросите свою совесть... Радуйтесь же, вам удалось: ваш приятель очернил меня здесь, меня выгнали, на меня смотрели с презрением, мои уши должны были слышать страшные оскорбления; наконец, я без куска хлеба, а потому выслушайте от меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкий, презренный человек, выслушайте это от горничной вашей тетки... Как мне приятно думать о бессильной злобе, о бешенстве, с которыми вы будете читать эти строки; а ведь вы слывете за порядочного человека и, вероятно, послали бы пулю в лоб, если б кто-нибудь из равных вам сказал это».

Бельтов, проигравшийся в пух, раздосадованный, валялся перед чаем на диване, когда посланный в город привез ему, между прочим, и письмо от Софи. Он не знал ее руки; следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо, и прехладнокровно развернул его. При первой строчке рука его задрожала, но он дочитал письмо спокойно, встал, бережно сложил его, потом сел на стул и обернулся головою к окну. Два часа просидел он в этом положении; чай давно уже стоял на столе, и он не хлебнул еще из своего стакана; трубка его давным-давно докурилась, и он не кликал казачка. Когда он совершенно пришел в себя, ему показалось, что

он вынес тяжкую, долгую болезнь; он чувствовал слабость в ногах, устал, шум в ушах; провёл раза два рукою по голове, как будто щупая, тут ли она; ему было холодно, он был бледен как полотно; пошел в спальню, выслал человека и бросился на диван, совсем одетый... Через час он позвонил; а на другой день, чем свет, по плотине возле мельницы простучала дорожная коляска, и четверка сильных лошадей дружно подымала ее в гору; мельники, вышедшие посмотреть, спрашивали: «Куда это наш барин?» – «Да, говорят, в Питер», – отвечал один из них. А через полгода по тому же мосту простучала та же коляска назад: барин возвратился с барыней. Сельский священник, ходивший поздравить Бельтова с приездом, возвратясь домой, с величайшим удивлением говорил жене:

– Попадья, а попадья! Знаешь, кто барыня? Вот что была учительница-то, бывшая у Веры Васильевны от засекинской барыни. Чудны дела твои, господи!

– Что? Небось, – отвечала попадья, – приступу нет?

– Нет, не хочу лжесвидетельствовать, – отвечал священник, – словоохотлива и благодушна.

Тетка, двое суток сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лет, если б этот несчастный случай не лишил ее сна и аппетита. Видно, уж таково устройство женского сердца; сама Бельтова не могла изжить страшного опыта, перенесенного ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему по-видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то злотворной материей, живет в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается со страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души ее; она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидела молча целые часы на балконе. Года через три Бельтов простудился и дней в пять умер; тело его, изнуренное прежней жизнью, не имело достаточных сил победить горячку; он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему двух годового мальчика: он дико взглянул на него, и испуганный ребенок потянулся ручонками в другую комнату. Удар этот сильно потряс Бельтову: она любила этого человека за его страстное раскаяние; она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к ней пристала от окружавшего ее; она оценила его перемену; она любила даже иногда возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного нрава.

Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова, после потери мужа, на воспитание малютки; если он дурно спал ночью – она вовсе не спала; если он казался нездоровым – она была больна; словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была смешана у ней с черным началом ее души. Мысль, что она потеряет ребенка, почти беспрестанно вплеталась в мечты ее; она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца и, когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, как она называла болезненные грезы свои, ребенок рос и, если не был очень здоров, то не был и болен. Она не выезжала из Белого Поля; мальчик был совершенно один и, как все одинокие дети, развился не по летам; впрочем, и помимо внешних влияний, в ребенке были видимы несомненные признаки редких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву, для того чтоб найти гувернера. У ее покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостяк, преумный, препраздный и, в самом деле, пренесносный своей своеобычностью.

Не могу никак удержаться, чтоб не сказать несколько слов и об этом чуде: меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна, – это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли – куда вынесет! Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду, сначала: для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь или жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости, – ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания. Желаящий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть. Итак, биография дядюшки.

Отец его – степной помещик, прикидывавшийся всегда разоренным, – ходил всю жизнь в нагольном тулупе, сам ездил продавать в губернский город рожь, овес и гречиху, причем, как водится, обмеривал и был за это проучаем иногда. Однако сына своего, несмотря на расстроенные обстоятельства, он отправил в гвардию и с ним – две четверки лошадей, двух поваров, камердинера, лакея-гиганта и четырех мальчиков как *hors d'oeuvre*³⁵. В Петербурге находили, что молодой офицер прекрасно воспитан, то есть имеет восемь лошадей, не меньшее число людей, двух поваров и проч. Все шло сначала как по маслу; будущий дядюшка сделался гвардии поручиком, как вдруг произошло важное событие в его жизни: оно случилось в семидесятих годах. В прекрасный зимний день ему вздумалось прокатиться в санях по Невскому; за Аничковым мостом его нагнали большие сани тройкой, поравнялись с ним, хотели обогнать, – вы знаете сердце русского: поручик закричал кучеру: «Пошел!» – «Пошел!» – закричал львиным голосом высокий, статный мужчина, закутанный в медвежью шубу и сидевший в других санях. Поручик обогнал. Задыхаясь от бешенства, при повороте господин в медвежьей шубе, державший в руке арапник, вытянул им поручичьего кучера, нарочно зацепив за барина:

– Не перегонять, бестия!

– Что вы, с ума сошли? – спросил офицер.

– Я хочу отучить вашего дурака, чтоб он не смел перегонять.

– Я ему велел скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишком уважаю мундир моей государыни, чтоб позволить запятнать его.

– Ба, какой молодчик, – да кто ты такой?

– Да ты кто? – спросил поручик, готовый броситься на него, как зверь.

Статный мужчина посмотрел на него с презрением, показал ему свой кулак величиною с слоновью ногу и сказал:

– В рукопашный? Нет, брат, отстанешь! – Потом закричал кучеру: – Пошел!

– Ступай за ним! – вскрикнул поручик своему кучеру, прибавив слова два, до того всем известные, что их и в лексиконе не помещают.

Офицер, действительно, узнал, где живет этот господин, однако идти к нему раздумал; он решился написать ему письмо и начал было довольно удачно; но ему, как нарочно, помешали: его потребовал генерал, велел за что-то арестовать; потом его перевели в гарнизон Орской крепости. Орская крепость вся стоит на яшме и на благороднейших горнокаменных породах, тем не менее там очень скучно. Офицер взял с собою экземпляр Крекльоновых романов и с таким назидательным чтением отправился на границу Уфимской провинции. Года через три его опять перевели в гвардию, но он возвратился из Орской крепости, по замечанию знакомых, несколько поврежденным; вышел в отставку, потом уехал в имение, доставшееся ему после

³⁵ добавление к главному (фр.)

разоренного отца, который, кряхтя и ходя в нагольном тулупе, – для одного, впрочем, скругления, – прикупил две тысячи пятьсот душ окольных крестьян; там новый помещик поссорился со всеми родными и уехал в чужие края. Года три пропадал он в английских университетах, потом объехал почти всю Европу, минуя Австрию и Испанию, которых не любил; был в связях со всеми знаменитостями, просиживал вечера с Боннетом, толкуя об органической жизни, и целые ночи с Бомарше, толкуя о его процессах за бокалами вина; дружески переписывался с Шлёцером, который тогда издавал свою знаменитую газету; ездил нарочно в Эрменонвиль к угасавшему Жан-Жаку и гордо проехал мимо Фернея, не заезжая к Вольтеру. Возвратившись лет через десять из путешествия, он попробовал пожить в Петербурге. Ему пришлось не по вкусу петербургская жизнь, и он поселился в Москве. Сначала находил он все странным; потом все его стали находить странным. И в самом деле, он как-то потерялся... стал читать одни медицинские книги, видимо, опускался, становился озлобленным, капризным, чужим всему и ко всему охладевшим...

К нему приехал около того времени, как Бельтова искала гувернера, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и с строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник; в деле воспитания мечтатель с юношескою добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогике от «Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного он не вычитал в этих книгах – что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так, как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи, должно быть свое воспитание. Этого женевец не мог знать: он сердце человеческое изучал по Плутарху, он знал современность по Мальт-Брёну и статистикам; он в сорок лет без слез не умел читать «Дон-Карлоса», верил в полноту самоотвержения, не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики, и возил с собой портрет Паоли. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим; бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого еще менее узнал действительность. Печальный, бродил он по чудным берегам своего озера, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу, и вдруг воображение указало ему на север – на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное, новое, возникающее... Женевец купил себе историю Левека, прочел Вольтерова «Петра I» и через неделю пошел пешком в Петербург. При девственном взгляде своем на мир женевец имел какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправим: он останется на веки веков ребенком.

Бельтова познакомилась с ним у дяди; она едва смела надеяться найти идеального гувернера, который сложился у ней в фантазии, но женевец был близок к нему. Она предложила ему (по тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только тысячу двести, и согласился. Бельтова изъяснила свое удивление, но он хладнокровно возразил, что он с нее берет не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в восемьсот рублей да на непредвиденные случаи полагает четыреста; «к роскоши, – прибавил он, – я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу вверила мать воспитание будущего обладателя Белым Полем с пустошами и угодами!

Один старик дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время, как Бельтова была вне себя от радости, дядя (один из всех родных ее мужа, принимавший ее) говорил: «Ох, Софья, Софья! Все ты вздор делаешь; женевец остался бы преспокойно у меня чтецом; что он за гувернер? За ним надо еще няньку, да и что он сделает из Володи? – Швейцарца. Так уж лучше, по-моему, просто тебе везти его куда-нибудь в Вевей или Лозанну...» Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего женедца, и, не желая сердить его,

молчала; а потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношей в сорок лет назад в свое имение. Дело было весною; женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике; с раннего утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговор заменял скучные уроки: всякий предмет, попавшийся на глаза, был темой, и Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснения женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха... И время шло, и два выбора прошли, и пришло время везти Володю в университет. Матери что-то не хотелось; она в эти годы более сдружилась с кротким счастьем, нежели во всю жизнь; ей было так хорошо в этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены: она так привыкла и так любила ждать на своем заветном балконе Володю с дальних прогулок; она так наслаждалась им, когда он, отирая пот с своего лица, раскрасневшийся и веселый, бросался к ней на шею; она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное: он был так благороден, что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нем, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила чрез эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с годами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать; он иногда, долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознания, что я способствовал развитию такого юноши, – меня совесть не упрекнет!»

Как все перепутано, как все странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготавливают Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того чтоб вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками – обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера. Таков был и женевец, – но какая разница – он, бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паоли, с своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд, – что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением?..

Но как ни сдружилась Бельтова с своей отшельнической жизнью, как ни было больно ей оторваться от тихого Белого Поля, – она решила ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб; она застала его полулежащего в вольтеровских креслах; ноги были закутаны шальями из козьего пуху; седые и редкие волосы длинными космами падали на халат; на глазах был зеленый зонтик.

– Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович? – спросил старик.

– Готовлюсь в университет, дедушка, – отвечал юноша.

– В какой?

– В Московский.

– Что там делать? Я сам знаком был с Матеем, да и с Геймом, – ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше; а, Софья? Право, лучше. А по какой части хочешь ты идти?

– По юридической, дедушка.

Дедушка сделал презрительную мину.

– Ну, что ж! Выучишь *le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien*³⁶, – потом что?

³⁶ естественное право, международное право, кодекс Юстиниана (*фр.*).

– Потом, – отвечала мать, улыбаясь, – потом в Петербург служить.

– Ха, ха, ха! Очень нужно знать Pandectes³⁷ и все эти Closses!³⁸ Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в юрис-консульты собираетесь – ха, ха, ха! – в адвокаты? Делайте, как знаете, а по-моему, братец, иди по дохтурской части; я тебе библиотеку свою оставлю – большая библиотека, – я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал; медицинская наука теперь лучше всех; ну, ведь ближнему будешь полезен, из-за денег тебе лечить стыдно, даром будешь лечить, – а совесть-то спокойна.

Зная упорность мнений старика, ни Володя, ни мать его не возражали, но женевец не вытерпел и сказал:

– Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтоб образованные молодые люди шли в службу.

– Он выучит вас, да, кстати, и меня; а я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках, – отвечал капризный старик, – мой милый *citoyen de Genève*!³⁹ А знаете ли вы, – прибавил он, смягчившись, – у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано: «Сочинение женецкого *мещанина* Руссо»... – и старик закашлялся от смеха.

Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает.

– Володя, – продолжал он уже в веселом расположении, – не пишешь ли ты виршей?

– Пробовал, дедушка, – отвечал Владимир, покраснев.

– Пожалуйста, не пиши, любезный друг; одни пустые люди пишут вирши; ведь это *futilité*⁴⁰, надобно делом заниматься.

Только последний совет Владимир и исполнил: стихов он не писал. Вступил же он не в Оксфордский университет, а в Московский, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова: доселе он был один, теперь попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес, здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше почтительного благонаравия, чтоб быть отличным студентом. Кончился наконец и курс; раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург; сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова, накануне его отъезда, все были еще полны надежд; будущность раскрывала свои объятия, манила, отчасти, как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы... Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий – на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши – не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, – как женевец в дорожном платье будил его.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность!.. Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность – в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России! Москва, думал он, совершила

³⁷ Пандекты (*фр.*).

³⁸ Глоссы (*фр.*).

³⁹ женецкий гражданин! (*фр.*)

⁴⁰ пустяки (*фр.*).

свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства; она бьется за него; но Петербург, Петербург – это мозг России, он вверху, около него ледяной и гранитный череп; это возмужалая мысль империи... И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и с святою искренностью. А дилижанс между тем катился от станции до станции и вез, сверх наших мечтателей, отставного конноегерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возившего с собою окаменелую шемаю, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светло-белокурого юнкера, у которого щеки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новость, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шемаей, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтоб найти приличную монету отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него; он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство» и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не окончив ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетенный в *cuir gusse*⁴¹, несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно!

Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом; старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасно языки. Ее брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким, пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела; ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму девятнадцати лет, – бюрократия хлопотливая, занятая, с нумерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой; он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара, – он все поэтизировал.

Приехала наконец и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них; в последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог: он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома; он становился угрюм, боролся с собою, – он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности, – мечтал о будущем; у него в голове бродили разные надежды, планы, упования; он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей... и среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к женевицу. «И как много обязан я тебе, истинный, добрый друг наш, – сказал он ему, – в том, что я сделался человеком, – тебе и моей матери я обязан всем, всем; ты больше для меня, нежели родной отец!» Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать, – ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты.

Пришедши в свой небольшой кабинет, женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их; эти сокровища обличали как-то въявь всю бесконечную нежность этого человека: у него хранился бережно завернутый портфель; портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для женевица двенадцатилетний Володя к Новому году, тайком от него, ночью; сверху он наклеил выдраный из какой-то книги портрет Вашингтона; далее у него хранился акварельный порт-

⁴¹ русскую кожу (*фр.*).

рет четырнадцатилетнего Володи: он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслью в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился еще лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам; еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшая старику и лежавшая всегда возле него, – ее женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кой-какие в том же роде, он отобрал книг пятнадцать, остальные отложил. Потом, ранним утром, вышел он осторожно в Морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город, надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком; крупные слезы капали у него на сюртук.

Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой женевца, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута останется мне памятною; она проводит меня до конца жизни как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах, – но с тем вместе она торжественно заключила мое дело, она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына – он опередил меня.

Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне, – мешала мне любовь к вашему сыну; если б я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не мог уж и потому остаться, что считаю унижительным даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом.

Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию; оттуда я намерен отправиться в Швецию; буду путешествовать, пока проживу свои деньги; потом примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

В последнее время я не брал у вас денег; не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину – прочим слугам, которым прошу дружески от меня поклониться: я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вольдемар. К нему я пишу особо.

Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина! Да будет благословение на доме вашем; впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного: чтоб вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его к Владимиру начиналось так:

«Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вольдемар. Ты знаешь, у меня нет родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоём челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вольдемар, право дать тебе дружеский совет, уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудач и несчастий: они найдут в тебе отпор и силу, – я боюсь успехов и счастья, ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтоб не вышло обратного: чтоб дело не служило тебе. Не смешай, Вольдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не

сделаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь созидает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя...»

Всего письма не перепишешь: оно в три почтовые листа.

Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. «Где-то наш monsieur Joseph?»⁴² – часто говаривали мать или сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура, в своем длинном дорожном сюртуке, пропадаящая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

VII

Азаис доказывал (очень скучно), что все в мире наверстывается; разумеется, чтоб верить этому, не надобно быть слишком строгим и придирается к мелочам. Основываясь на этом, мы просим позволения, в виде возмездия за потерю мсье Жозефа, представить Осипа Евсеича. Осип Евсеич был худенький, седенький старичок лет шестидесяти, в потертом вицмундирном фраке, всегда с довольным видом и красными щеками. Он тридцать лет управлял четвертым столом в той канцелярии, куда поступил Бельтов; пятнадцать лет до того времени он был писцом в том же столе; наконец, остальные пятнадцать лет он провел на дворе канцелярии в почетном звании швейцарова сына, дававшем ему аристократический вес перед детьми всех сторожей. Этот человек всего лучше мог служить доказательством, что не дальние путешествия, не университетские лекции, не широкий круг деятельности образуют человека: он был чрезвычайно опытен в делах, в знании людей и к тому же такой дипломат, что, конечно, не отстал бы ни от Остермана, ни от Талейрана. От природы сметливый, он имел полную возможность и досуг развить и воспитать свой практический ум, сидя с пятнадцати лет в канцелярии; ему не мешали ни науки, ни чтение, ни фразы, ни несбыточные теории, которыми мы из книг развращаем воображение, ни блеск светской жизни, ни поэтические фантазии. Он, переписывая набело бумаги и рассматривая в то же время людей начерно, приобретал ежедневно более и более глубокое знание действительности, верное понимание окружающего и верный такт поведения, спокойно прошедший его между канцелярских омутов, неказистых, но тинистых и чрезвычайно опасных. Менялись главные начальники, менялись директора, мелькали начальники отделения, а столоначальник четвертого стола оставался тот же, и все его любили, потому что он был необходим и потому что он тщательно скрывал это; все отличали его и отдавали ему справедливость, потому что он старался совершенно стереть себя; он все знал, все помнил по делам канцелярии; у него справлялись, как в архиве, и он не лез вперед; ему предлагал директор место начальника отделения – он остался верен четвертому столу; его хотели представить к кресту – он на два года отдалил от себя крест, прося заменить его годовым окладом жалованья, единственно потому, что столоначальник третьего стола мог позавидовать ему. Таков он был во всем: никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство; никогда никто из сослуживцев не подозревал его в бескорыстии. Вы можете себе представить, сколько разных дел прошло в продолжение сорока пяти лет через его руки, и никогда никакое дело не вывело Осипа Евсеича из себя, не привело в негодование, не лишило веселого расположения духа; он отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц; он на дела смотрел как-то отвлеченно, как на сцепление большого числа отношений, сообщений, рапортов и запросов, в известном порядке расположенных и по известным правилам разросшихся; продолжая дело в своем столе или *сообщая ему движение*, как говорят романтики-столоначальники, он имел в виду, само собою разумеется, одну очистку своего стола и оканчивал дело у себя как удобнее было: справкой в Красноярске, которая не могла ближе двух лет возвратиться, или заготовлением окончательного решения, или – это он

⁴² господин Жозеф (*фр.*).

любил всего больше – пересылкою дела в другую канцелярию, где уже другой столоначальник оканчивал по тем же правилам этот гранпасьянс; он до того был беспристрастен, что вовсе не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска, – Фемида должна быть слепа...

Вот этот-то почтеннейший сослуживец Владимира, месяца через три после его определения, окончив пересмотр перебеленных бумаг и задав нового корма перьям четырех писцов, вынул свою серебряную табакерку с чернью, поднес ее помощнику и прибавил:

– Попробуйте-ка, Василий Васильевич, ворошатинского; приятель привез из Владимира.

– Славный табак! – возразил помощник чрез минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большую щепотку сухой светло-зеленой пыли.

– Что? Забирает-с? – сказал столоначальник, очень довольный тем, что попортил носовую перепонку своего помощника.

– А что, Осип Евсеич, – спросил помощник, более и более приходявший в себя после паралича от ворошатинского табаку и утиравший синим платком глаза, нос, лоб и даже подбородок, – я вас еще не спросил, как вам понравился вновь определившийся молодой человек, из Москвы, что ли?

– Малый, кажется, бойкий; говорят, его сам определил.

– Да-с, точно, малый умный, отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павл Павлычем; тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Павлыч начал сердиться; я, говорит, вам говорю так и так, – а Бельтов: да помилуйте, вот так и так. Порадовался я, со стороны глядя. После, как Бельтов отошел, Павла Павлыч, знаете, приятелю-то своему говорит: «Вот и держи в порядке канцелярию, как этаких насажают; да я, впрочем, сам университет, я его отучу своевольничать; мне дела нет, через кого определен».

– Эки дела! – сказал столоначальник, на которого рассказ, по-видимому, сделал тоже радостное впечатление. – Так кто бы ни определил, все равно? Ай да Павлыч! Ну, а что ж, он ему в глаза-то сказал это?

– Нет; под конец он что-то по-французски только ввернул. Признаюсь, как я посмотрел на эту выходку, так знаете, что пришло в голову: вот мы с Осипом Евсеичем будем все еще так же сидеть наперекоски у четвертого стола, а он переедет вон туда, – он показал на директорскую.

– Эх, голова, голова ты, Василий Васильич! – возразил столоначальник. – Умней тебя, кажется, в трех столах не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, брат, на своем веку довольно видел материала, из которого выходят настоящие деловые люди да правители канцелярии; в этом фертике на волос нет того, что нужно. Что умен-то да рьян, – а надолго ли хватит и ума и рьяности его? Хочешь, об заклад на бутылку полынного, что он до столоначальника не дотянет?

– Пари держать не хочу, а я вчера читал бумаги, им писанные: прекрасно пишет, ей-богу; только в «Сыне отечества» удавалось читать такой штиль.

– Видел и я, – у меня глаз-то, правда, и стар, ну, да не совсем, однако, и слеп, – формы не знает, да кабы не знал по глупости, по непривычке – не велика беда: когда-нибудь научился бы, а то из ума не знает; у него из дела выходит роман, а главное-то между палец идет; от кого сообщено, достодожное ли течение, кому переслать – ему все равно; это называется по-русски: вершки хватать; а спроси его – он нас, стариков, пожалуй, поучит. Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь; я сначала сам было подумал: «Кажется, не глуп; может, будет путь; ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет», – а теперь три месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца родного, прости господи, режут, а он спасает, – ну, куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов, не он первый, не он последний, все они только на словах выезжают: я-де злоупотребления искореню, а сам не знает, какие злоупотребления и в чем они... Покричит, покричит, да так на всю жизнь чиновником *без всяких поручений* и останется, а сдуру над нами будет подсмеивать: это-де канцелярские чернорабочие; а чернора-

бочие-то все и делают; в гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать – не умеет, давай чернорабочего... Трутни! – заключил красноречивый столоначальник.

В самом деле, столоначальник рассуждал основательно, и события, как нарочно, торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управлявший канцеляриею призывал его к себе и говорил, как нежная мать, – не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, так трогательно и так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служившие под его начальством, – и это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через три месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсеич гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал:

– Да когда же ты научишься? Ну, сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь; все оттого, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями, – не раз видал... Ну, пиши: «И для свободного в Российской империи прожития дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати...» Кончил? давай! – И он бормотал: – Из двор... душ... уезда... курс... штат... восемнадцатого сентября... православного... хорошо! – И внизу Осип Евсеич скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа.

– Поди же, снеси сейчас и подай, а когда подпишет – в регистратуру; вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано: «у сего паспорта». Он завтра за ним придет.

– Что, Василий Васильич, не хотели на полынную-то держать, а вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворен!

– Ровно четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, – остроумно заметил помощник.

Столоначальник и за ним весь стол его расхохотались.

Этим олимпийским смехом окончилось служебное поприще доброго приятеля нашего, Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик, – Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет?

Все или почти все.

Что он сделал?

Ничего или почти ничего.

Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют. Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребятся в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос премудреный. Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всем почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсеич: «А делают-то одни чернорабочие», и делают оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное...

Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром, – утром, в котором соединились неудобства всех четырех времен года, мокрый снег хлестал в окна и в одиннадцать часов утра еще не рассветало, а, кажется, уж смеркалось, – сидела Бельтова у того же камина,

у которого была последняя беседа с женовцем; Владимир лежал на кушетке с книгой в руке, которую читал и не читал, наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал:

– Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?

– Как хочешь, мой друг, – отвечала с обычной кротостью Бельтова, – одно страшно, Володя, надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни.

– Маменька, – сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь, – какой вы эгоист, преисполненный любви! Жить сложа руки, конечно, безопаснее; но я полагаю, что на бездействие надобно так же иметь призвание, как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать.

– Попробуй, – отвечала мать.

На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете; как он ни обманывал себя, но медицина была для него местом бегства: он в нее шел от неудач, шел от скуки, от нечего делать; много легло уже расстояния между веселым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом, он очень скоро наткнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина учено молчит и от разрешения которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли, – он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов: на такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам; он в них нашел опять своих канцелярских товарищей; ему хотелось, чтоб они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших; ему хотелось, чтоб они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию, – а им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг.

«Нет, – думал Владимир, – нет, не хочу быть доктором! Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разноголосице во всех физиологических вопросах. Все практическое в сторону! Что я за чиновник, что я за ученый? Я... я... не смею признаться, я – артист!» Срисовывая изображения черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано – сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями, возле двух черепов явилась небольшая Венера; везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести – так, как их понимает ученое ваяние, то есть так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе, этот костюм пролетария ему сшил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом... Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе: он обдумывал встречу Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь; кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга...

Само собою разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова: в нем не доставало довольства занятием; вне его не доставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельности; она была вовсе не нужна и обуславливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем: его безусловная область не там – он внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою рисует, если будет живописец, пропоет,

если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так, как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен, – старается... а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепьянах, счастливого Бетховеном и изучающего современность *ex fontibus*⁴³, то есть по древним писателям.

К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать... Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования; у нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру; да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, вниманье!

Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя; события ее очень обыкновенны, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потратилось много жизни, и после нескольких векселей, на которые потратилось довольно много состояния, он уехал в чужие края – искать рассеянья, искать впечатлений, занятий и проч., а его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое Поле поправлять брешы, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтоб Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это для Бельтовой было совсем не легко; она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня, – всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого Поля молили бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присвоивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых годах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни; они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему: он досмотрел Европу – ему ничего не оставалось делать; все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты; он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских похождений на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье; он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому пробудет еще дней пять в Монпелье; обещал писать, когда выедет; о возвращении в Россию ни слова. «Несколько простудился», – и мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит две недели – письма нет; проходит около месяца – письма нет. Бедная женщина, она была лишена даже последнего утешения в разлуке – возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет, – и, не зная, дойдут ли, для одного облегчения, послала два письма в Париж, *confiées aux soins de l'ambassa de russe*⁴⁴. Ложась спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить кучера верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и

⁴³ по первоисточникам (*лат.*).

⁴⁴ доверив их попечению русского посольства (*фр.*).

очень хорошо знала, что почта приходит в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой; он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой, – и с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в продолжение нескольких часов! Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее; она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерии капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, например, о составлении учтвого объяснения, почему нет запасного магазина, и т. п.; она хотела теперь выпросить у него, где берут заграничные паспорта, в казенной палате или в уездном суде... И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всенощной.

– Ступай; да что такое завтра?

– Неужели вы изволили забыть, что завтра семнадцатого сентября, день вашего ангела, богомудрой Софии и дочерей ее – Любви, Веры и Надежды!

– Ступай, Дуня, да помолись и об Володе, – сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазах ее.

Человек до ста лет – дитя, да если бы он и до пятисот лет жил, все был бы одной стороной своего бытия дитя. И жаль, если б он утратил эту сторону, – она полна поэзии. Что такое именины? почему в этот День ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, третье марта», – говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга. – «Третье марта, да, третье марта», – отвечает другой, и его дума уж за восемь лет; он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет: «Ровно восемь лет!» И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что тринадцатого марта будет ровно восемь лет и десять дней и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить... Она впадала в задумчивую мечтательность: то воображению ее представлялось, как, лет за пятнадцать, она в завтрашний день нашла всю чайную комнату убранную цветами; как Володя не пускал ее туда, обманывал; как она догадывалась, но скрыла от Володи; как мсье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды; потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее и торопилась утешить себя тем, что, может быть, мсье Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю, он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать как друга... Но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных с светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами Белого Поля; староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал десятого в уездный город; кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целостность его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриные яйца; между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом: он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах, оттого что рука его (не знаю, от многого ли письма или оттого, что он никогда не встречал прелестное сельское утро не выпивши, на мирской счет, в питейном доме кружечки сивухи) имела престранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и

бриться; на нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги, то есть он напоминал собою известного зверя в Австралии, орниторинха, в котором преотвратительно соединены зверь, птица и амфибий. На дворе жалобно кричал время от времени юный теленок, поенный шесть недель молоком: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барыне для дня *менин*. Бельтова не умела с достоуважаемой важностью делать выходы; она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода – обедня; служили молебен; в самое это время приехал артиллерийский капитан; на этот раз он явился не юрисконсультом, а в прежнем воинственном виде; когда шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собою в кибитке маленький фальконет и велел выстрелить из него в ознаменование радости; легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять, и исстрадалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску, – вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору – исчезла и минуты две спустя показалась вблизи; ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик почтмейстер (это был он), вылезая из кибитки, не вытерпел, чтоб не сказать ямщику:

– Ай да Богдашка, собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, щурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая:

– Уж если нам вашему благородию не сусердствовать, так уж это – хуже не надо.

С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки.

– Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высокаторжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия. Здравствуйте, Спиридон Васильевич! (Это относилось к капитану.)

– Василью Логиновичу наше почтение, – отвечал артиллерист.

Василий Логинович продолжал:

– А я-с для вашего ангела осмелился подарочек привезти вам; не взыщите – чем богат, тем и рад; подарок не дорогой – всего портовых и страховых рубль пятнадцать копеек, весовых восемь гривен; вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича: одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек: недельки две первое письмецо, да и другое деньков пять, поберег их к нынешнему дню; право, только и думал: утешу, мол, Софью Алексеевну для тезоименитства, так утешу.

Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Офрен – с Тераменовым рассказом: она не слушала всей части речи после того, как он вынул письма; она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон.

Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью; он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед:

– Вот, Василий Логиныч, оконтузили письмом-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, оно ведь не мешает и употребить; я очень рано встаю.

Они употребили.

... Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, – и я, как уже писал вначале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда – прямо в Тауроген, не останавливаясь... Германия мне страшно надо-

ела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь с знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в Белое Поле».

– Дуня, Дуня, подай поскорее календарь! Ах, боже мой, ты где его ищешь, – какая бес-
толковая! Вот он.

И Бельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, перево-
дить числа с нового стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумы-
вала, как учредить комнату... ничего не забыла, кроме гостей своих; по счастью, они сами
вспомнили о себе и употребили *по второй*.

– Странное и престранное дело! – продолжал председатель. – Кажется, жизнь residen-
ции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно без-
бедному, трудно соскучиться.

– Что делать! – отвечал Бельтов с улыбкой и встал, чтоб проститься.

– А впрочем, поживите и с нами. Если не встретите здесь того блеска и образования, то,
наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих
мирных семейств.

– Это уж конечно-с, – прибавил развязный советник с Анной в петлице, – наш городок-с
чего другого нет, а насчет гостеприимства – Москвы уголок-с!

– Я в этом уверен, – сказал Бельтов, откланиваясь.

Часть вторая

I

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей NN; позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Бельтова. Он остановился в гостинице «Кересберг», названной так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в NN, утешительница в скорбях и место разгула в радостях; направо от входа, вечно на одном месте, стоял бесстрастный хозяин за конторкой и перед ним его приказчик в белой рубашке, с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза; в этой конторке хоронилось, в первые числа месяца, больше половины жалованья, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников (секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет; с секретарства у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они делаются консерваторами). Хозяин серьезно и важно пощелкивал на счетах; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки, потом щелкала ключом — и деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвою, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч — частный пристав, разумеется, для того, чтоб отдать свой долг... Иногда заезжали в гостиницу и советники поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну, другую бутылку, словом, погулять на холостую ногу, потихоньку от супруги (холостых советников так же не бывает, как женатых аббатов), — для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники, при появлении таких сановников, прятали трубки свои за спину (но так, чтоб было заметно, ибо дело состояло не в том, чтоб спрятать трубку, но чтоб показать достоподобное уважение), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде, — на бильярде, на котором, в часы, досужие от карт, корнет Дрягалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клапшотсами.

Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгороднего села, знал, что такое Бельтов и какое именице у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира, — комната эта только давалась особам важным, генералам, откупщикам, — и *потому* повел его в другие. Другие были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил: «Кабы эта была не проходная, я бы с нашим удовольствием», — тогда Бельтов стал с жаром убеждать, чтоб он уступил ему ее; содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял не обидную себе. Учтивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная; он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их; впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубо пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет десять тому назад служивший в военной службе, собирался сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергических выражений: «Я сам дворянин; ну, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь, — что тут делать станешь, — а то молодкососу, видите, из Парижа приехал; да позвольте спросить, чем я хуже его, я сам дворянин, старший в роде, медаль тысяча восемьсот двенадцатого...» — «Да полно ты, полно, горячая голова!» — говорил ему корнет Дрягалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни

было, но хозяин, молча и отшучиваясь, с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца поставил на своем. Комната, до которой достигнут Бельтов с оскорблением щекотливого *point d'honneur*⁴⁵ многих, могла, впрочем, нравиться только после четырех ужасных нумеров, которыми ловко застрашал хозяин приезжего; в сущности, она была грязна, неудобна и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял нечто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе.

Первая суэта приезда улеглась. Каретные ваши, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился наконец Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий – с кисетом, с неполною бутылкой бордо, с остатками фаршированной индейки; разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык, по окончании всякого дела, выпивать большой птивер⁴⁶ (так, как в России начинают тем же самым все дела). Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезде, облепила его, но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока; он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один; посидевши недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий, губернский, форменный: плохо выкрашенная каланча, с подвижным полицейским солдатом наверху, первая бросилась в глаза; собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле; потом две-три приходские церкви, из которых каждая представляла две-три эпохи архитектуры: древние византийские стены украшались греческим порталом, или готическими окнами, или тем и другим вместе; потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями из бородачей; наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах, с чахоточными колоннами, прилепленными к самой стене, с мезонином, не обитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем, закопченным, в котором помещается дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади; дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена; немного наискось тянулся гостинный двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный; в нем можно было все найти – коленкоры, кисеи, пиконеты, – все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутый картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна; на дворе была оттепель, – оттепель всегда похожа на весну; вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега. Будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-под льда и снега, но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в NN; улица, видно, знала, что опять придут морозы, выюги и что до 15/27 мая не будет признаков листа, она не радовалась; сонное бездействие царило на ней; две-три грязные бабы сидели у стены гостинного двора с рязанью и грушей; они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обращались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знаменiem креста. Недалеко от них старик купец, лет под семьдесят, с седою бородой, в высокой собольей шапке, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы перебежали из лавки в лавку; некоторые начинали запира́ть их. Никто, кажется, ничего не покупал; даже почти никто не ходил по улицам; правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку; сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть; тыкву эту

⁴⁵ дела чести (*фр.*).

⁴⁶ рюмку (от *фр.* *petit verre*).

везли четыре потертых лошади; гайдук-форейтор и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади тряся лакей в шинели с галунами цвету верантик. В тыкве сидела другая тыква – добрый и толстый отец семейства и помещик, с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках; возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перцу, спрятанный в какой-то тафтяный шалаш, надетый вместо шляпки; против них приятный букет из сельских трех граций, вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород... Опять настала тишина... Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков, в коротеньких красных рубашках, с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с тою удалью в лице, которую мы все знаем, вышли обнявшись на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкального тона, сколько для тона вообще; бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги; видно было по движению плечей, как ему хочется пуститься вприсядку, – за чем же дело? А вот за чем: из-под земли, что ли, или из-под арок гостиного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках, и песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась, только балалайка показал палец будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами. Тут тишина еще более водворилась; стало смеркаться. Бельтов поглядел – и ему сделалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явным образом не доставало воздуха для дыхания, может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде; разумеется, ему и тут попадались кой-какие лица; изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь; толстой и приветливой наружности поп, в домашнем подрыснике, сидел перед воротами и посматривал на нее; попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник – и все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности, и все это шло с такою претензией, так непросто: титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский... а коллежский регистратор – будто он титулярный советник; проскакал еще на санках полицеймейстер; он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц, – это значило, что он едет с дневным к его превосходительству... Прошли, наконец, две толстые купчихи, кухарка несла за ними веники и узелок; красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. – Больше никаких встреч не было.

«Что значит эта тишина, – думал Бельтов, – глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там – ширь с этим безмолвием, а здесь все давит, а здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбеленные, да где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город, мор, что ли, посетил его – ничего не бывало: жители дома, жители отдыхают; да когда же они трудились?..» И Бельтов невольно переносился в шумные, кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознавать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгородного монастыря; в этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее, он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. Бедная жертва века, полного сомнением, не в NN тебе сыскать покой!

Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава о дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный, спросил мятной воды и примочил голову одеколоном; одеколон и мятная вода привели немного в порядок его мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть не хохотал, – у него в голове шла репетиция всего виденного, от передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: «С прошедшим праздничком», причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастье ежедневно подсаживать генерала в карету, – до гостиниой губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего NN-ского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное; конечно, имея главное, остальное приобрести ничего не значит; потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые, вместо того чтоб служить в кавалерии и заниматься устройством имения, играют в карты, держат французенок и ездят в Париж, – все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы. То ему представлялся губернский прокурор, который в три минуты успел ему шесть раз сказать: «Вы сами человек с образованием, вы понимаете, что для меня господин губернатор постороннее лицо: я пишу прямо к министру юстиции, министр юстиции – это генерал-прокурор. Губернатор хорош – и я для его превосходительства все, что могу, «читал, читал, читал», да и кончено; он – иначе, – и я ему с полным уважением, как следует высокому сану; ну да уж больше ничего, меня заставить нельзя; я не советник губернского правления». При этом он каждый раз нюхал из кольчатой серебряной табакерки рульный табак, наружностью разительно похожий на французский, но отличавшийся от него скверным запахом. То председатель гражданской палаты, худой, высокий, тощий, скупой и нечистый, доказывавший грязью свое бескорыстие. То генерал Хрящов, окруженный двумя отрешенными от должности исправниками, бедными помещиками, легавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянницами и двумя сестрами; генерал у него в воспоминаниях кричал так же, как у себя в комнате, высвистывал из передней Митьку и с величайшим человеколюбием обходился с легавой собакой. То наш знакомый председатель уголовной палаты, Антон Антонович, в халате цвета лягушечьей спинки, с своим советником с Анной в петлице. Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, неречистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом и что его не только не собьешь с ног обыкновенной пращей, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I.

Странное дело – Бельтов, с тех пор как отправился в чужие края, жил много и мыслию, и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... все ничего, сегодня идет, как вчера, все очень обыкновенно, а вдруг обернешься назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Так и было с Бельтовым: он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, – и снова струсил перед ней. У него не доставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщен с миром, его окружавшим. Причина этой разобщенности Бельтова понятна: Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля; университет продолжал это общее развитие; дружеский кружок из пяти-шести юношей, полных мечтами, полных надеждами, настолько большими, насколько им еще была неизвестна жизнь за стенами ауди-

тории, – более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, не свойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах да при бокалах вина, – открылись другие двери, немного со скрыпом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему; он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни; он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником, – а затем в действительности оставались только места празднующихся, игроков и кутящей братии вообще; к чести нашего героя, должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб. Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл, да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, – он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла наконец не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслию и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, – но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предложения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться, – и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь – иди, куда хочешь, во все стороны – воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям; он был лишен совершеннолетия – несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет от роду, он, как шестнадцатилетний мальчик, *готовился* начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. – «Конечно, Бельтов во многом виноват». – Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.